

**О жизни,
“ничтожной перед вечностью”,
и “жизни бесконечной”
в романе “Отцы и дети”**

О.А. ЛЕКМАНОВ,
кандидат филологических наук

Всё равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества – всё-таки надо жить наилучшим образом.

Л.Н. Толстой. “Казаки”

1.

Слово *жизнь* играет особую роль в произведении И.С. Тургенева. Оно не только часто повторяется в книге (43 раза; для сравнения – в предыдущем романе писателя “Накануне” слово *жизнь* употреблено 24 раза), но и завершает “Отцов и детей”, то есть оказывается в сильной позиции в финале. Как писал по сходному поводу С.Г. Бочаров, “на этом слове немалое строится во внутренней организации книги; наблюдение этого слова в тексте, кажется, позволяет ориентироваться в структуре книги, размыкает её с определённой существенной стороны” (Вопросы литературы. 1970. № 8. С. 76).

колаю Петровичу. – О.Л.) в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в нём, но в виде ощущений – и то неясных...” (214).

Если Николай Петрович, пусть и тщетно, но всё же старается вникнуть в сложности “фермерской жизни”, то Павел Петрович перед ними капитулирует, даже и не попытавшись разобраться что к чему: “Хозяйственные дрязги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на всё своё рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чём собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы” (227). Неудачливее брата Павел Петрович проявляет себя и в личной жизни. Он раз и навсегда почувствовал себя уязвленным сложностью взаимоотношений со своей юношеской любовью, княгиней Р. Как мы ещё попробуем показать далее, едва ли не каждая женщина в “Отцах и детях”, не утрачивая собственной индивидуальности, в то же время предстаёт символическим воплощением какой-нибудь одной характерной черты. Соответственно, в княгине Р., которая “вела странную жизнь”, “слыла за легкомысленную кокетку”, “а по ночам плакала и молилась” (221–222), соблазнительно увидеть олицетворение сложности человеческой души, не могущей понять самое себя: “...даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, всё ещё как-будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть (...) Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для неё самой неведомых сил; они играли ею, как хотели...” (222). Напротив, Фенечка, которую Павел Петрович полюбил на старости лет – это, кажется, сама простота и детская естественность: “Прелестно было выражение её глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо” (231). Павел Петрович, однако, теряется перед простотой Фенечки гораздо больше, чем перед сложностью княгини Р. Тогда он с упоением играл свою романтическую роль; теперь он понимает, что простая провинциальная девушка находится вне правил изощрённой игры, подчиняться которым Павел Петрович привык. И это выбивает Павла Петровича из колеи: “– Ах, как я люблю это пустое существо! – простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову” (357). В полной мере контраст между простодушной Фенечкой и Павлом Петровичем, отравленным сложностью жизни, проявляется в одной из финальных сцен “Отцов и детей”: «Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал её руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя её и только изредка судорожно вздыхая... “Господи! – подумала она, – уж не припадок ли с ним?..” А в это мгновение целая по-

гибшая жизнь в нём трепетала» (361). Отметим попутно, что воплощением псевдосложности в романе служит Кукушина: "...что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; всё у ней выходило, как дети говорят – нарочно, то есть не просто, не естественно" (259).

Итак, "отцы" в книге представляются запутавшимися в жизненном лабиринте, склонившимися перед сложностью бытия. А что можно сказать об отношении к сложности жизни "детей"?

Уже на первой странице романа читатель встречается с "молодым и щекастым" (195) камердинером Петром, чьё изображение представляет собой злую карикатуру на поколение "детей", каким оно виделось Тургеневу: "Слуга, в котором всё: и бирюзовая серёжка в ухе, и напوماженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, всё изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги..." (195). Интересно, что в старом камердинере Прокофьице пародийно отобразилось поколение "отцов": "Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича" (238). Приём обнажён в двадцать второй главке романа: "Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу" (336).

Сходный со слугой новейшего поколения тип поведения ("учтивые телодвижения" в сочетании с "развязной" снисходительностью) будет описан автором "Отцов и детей" на второй странице романа. Здесь как бы мимоходом упоминается о "*развязных, но подобострастных* адъютантах" (196), окружавших Кирсанова-отца в далёкой юности. Времена меняются, человеческая сущность меняется очень мало, сразу же даёт понять внимательному читателю Тургенев. Всё возвращается на круги своя.

Соответственно, очень мало меняется и отношение "детей" к сложности жизни, о чём свидетельствует, в первую очередь, поведение Аркадия Кирсанова, образ которого вобрал в себя всё то лучшее, что есть в "детях". Хотя Аркадий в начале книги и полон "чувства снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанного с ощущением какого-то тайного превосходства" (204), уже в третьей главке романа, оставшись со своими мыслями, Кирсанов-младший пасует перед сложностью жизни (в данном случае – социальной), совсем как его добрый и мягкий отец: "Нет, – подумал Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?.." (205). Запутывается Аркадий, подобно Николаю Петровичу, и в своих сердечных делах: "...Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблён в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей" (285).

2.

Евгений Базаров, старший товарищ Аркадия, формально также принадлежит к поколению “детей”. Тем не менее, он, вплоть до финальной страницы романа, находится *вне* поколений или, если угодно, *над* поколениями. Очень хорошо это показал Ю.В. Манн, чья статья о романе Тургенева так и называется “Базаров и другие” (см.: Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987). Характерно, что по отношению к Аркадию Базаров выступает то в роли умудрённого годами наставника, то в роли ровесника. Ср.: “...он (Базаров. – О.Л.) не почёл за нужное опровергать своего *молодого* ученика” (243); “Оба *молодых* человека (Аркадий и Базаров. – О.Л.) уехали тотчас после ужина” (269). Базаров – единственный среди персонажей “Отцов и детей”, кто не смиряется со сложностью жизни. Ей он противопоставляет попытку радикального упрощения человеческого существования. “Важно то, что дважды два четыре, а остальное всё пустяки” (236), – таков ответ Базарова на неразрешимые противоречия, которыми полна жизнь. “Разве вы не знаете сами, что изящная сторона *жизни* мне недоступна..?” (290) – сурово отрезает он, объясняясь с Одинцовой, под “изящностью” подразумевая, прежде всего, тонкость, сложность жизни.

Стратегия поведения Базарова в начале книги – нигилизм, то есть – отрицание всего, что не укладывается в рамки его представлений о единственно правильном, простейшем устройстве жизни. Правильное отделяется от неправильного не на основании логики (“Да на что нам логика? Мы и без неё обходимся” – 242), а на основании интуиции, *ощущения*, как говорит сам Базаров (“Принципов вообще нет (...) есть ощущения. Всё от них зависит” – 325). Однако базаровская интуиция требует от базаровского разума опоры на элементарную логику, а потому суждения Базарова нарочито, вызывающе апеллируют к здравому смыслу собеседника (“Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?” – 226).

Нигилизму в сознании главного героя “Отцов и детей” противопоставит романтизм, искусственно усложняющий простые по своей природе взаимоотношения между людьми. Если нигилизм, как это явствует уже из этимологии данного слова, ассоциируется с аскетичностью, романтизм – с избыточностью. Бранной кличкой “романтизм” Базаров готов обозвать явления самого разного порядка, если только они содержат избыток, всё равно, чувства (как “идеальная любовь”) или разума (как философия): “Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительной дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде

уродства или душевной болезни...”; “...Базаров и философию называл романтизмом...” (243); “– Ты навсегда прощаясь со мною, Евгений? – печально промолвил Аркадий, – и у тебя нет других слов для меня? – Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, – это значит: рассыропиться” (381).

Почему Базаров так последовательно игнорирует сложность жизни во всех её проявлениях? Потому что в *сложности* жизни он видит *ложность* жизни, обманывающей, морочащей человека. Отказ от сложности, по Базарову, равносителен отказу от обмана и самообмана. В девятнадцатой главке “Отцов и детей” герой Тургенева, пользуясь, между прочим, характерно романтической метафорой, говорит об этом так: “Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он ещё сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою *жизнь*” (306).

В первой части произведения Евгений Базаров предстаёт героем, нашедшим спасительный рецепт противостояния сложности жизни. Все остальные персонажи романа (и “отцы”, и “дети”) сильно проигрывают в сравнении с ним в глазах читателя и автора. Характерными кажутся начальные строки десятой главки книги, содержащие хотя и не прямую, но вполне отчётливую авторскую оценку поведения Аркадия и Базарова: “Прошло около двух недель. *Жизнь* в Марьино текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал” (237).

Тем неожиданней, что приблизительно к середине романа действительность базаровского рецепта сводится почти на нет. Базаров отрицает сложность жизни. В свою очередь, сложность жизни отрицает отрицание Базарова.

Виновником поражения Базарова приходится признать... самого Базарова: первую и наиболее значительную, можно сказать, роковую брешь в “простом” мироощущении самоуверенного нигилиста предательски пробивает его “сложная” любовь к Анне Сергеевне Одинцовой. Пробивает *изнутри*, неожиданно для героя “Отцов и детей”.

В седьмой главке романа Базаров высокомерно поучает Аркадия: “...человек, который всю свою *жизнь* поставил на карту женской любви и когда ему эту карту убили, раскис и опустил до того, что ни на что не стал способен, этакой человек – не мужчина, не самец” (226). Полюбив Одинцову, не кто иной, как Базаров “к изумлению своему” понимает, что он не может совладать со сложностью и “избыточностью” собственного чувства. А этого, как выясняется, достаточно, чтобы дала сбой казавшаяся безупречно отлаженной вся базаровская система защиты от сложности жизни. Как определяет сам Базаров: “Расклеилась машина” (306).

Но горькос базаровское открытие как раз в том и заключается, что поступками людей нельзя управлять, как работой машины. “Сложность” и “жизнь” невозможно механически разъять, поскольку сложность есть непрерывный атрибут жизни. Стоит только герою романа Тургенева ощутить это, как иллюзией оборачивается и его чувство хозяина жизни, проникшего в нехитрую тайну её устройства. Базарова начинает подводить его упрощённое отношение ко всему на свете: в частности, и прежде всего, к социальной жизни, природе и искусству.

Социальная жизнь крестьян во второй части книги предстаёт закрытой для понимания Базарова. Если в пятой главке “Отцов и детей” говорится об “особенном умении” героя “возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно” (212), в двадцать седьмой главке описан разговор Базарова с крестьянином, который завершается следующей авторской ремаркой: “Увы! Презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (...) в их глазах был всё-таки чем-то вроде шута горохового” (384). Социальная и нравственная жизнь человека далеко не так примитивна, как это кажется Базарову, поучающему деревенского мальчишку: “...мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим” (212). Крестьяне – не “лягушки”, их жизнь полна специфических “мужицких” проблем, в которые Базарову вникнуть не дано: “Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрёл восвояси. – О чём толковал? – спросил у него другой мужик (...). – О недоимке, что ль? – Какое о недоимке, братец ты мой! – отвечал первый мужик (...), так, болтал коё-что; язык почесать захотелось. Известно, барин, разве он что понимает? – Где понять! – отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах” (384).

Не только социальная, но и природная жизнь на поверку оказывается устроенной гораздо более сложно, чем это представлялось Базарову. В начале книги тургеневский герой судит о природе с фамильярностью заботливого начальника, до тонкостей изучившего повадки и нрав своего простоватого подчинённого: “Базаров (...) вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись. – Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да ёлок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозёму. Вон беседка принялась хорошо (...) потому что акация да сирень – ребята добрые, ухода не требуют” (234). Но уже в семнадцатой главке “Отцов и детей” от былой простоты взаимоотношений Базарова с природой не остаётся и следа. Не справляясь с собой, Базаров вымещает злость на деревьях: “В разговорах с Анной Сергеевной он ещё больше прежнего высказывал своё равнодушное презре-

ние ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нём большими шагами, *ломав попадавшиеся ветки*" (287).

Как любовь Базарова к Одинцовой связана с "ломанием веток"? Первоначально сложность природной жизни, так же, как сложность человеческих взаимоотношений, казалась Базарову злонамеренной выдумкой "стареньких романтиков" (210). "Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других, — эпатирует он Одинцову и Катю в шестнадцатой главке произведения. — Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною берёзой" (277). Высокое "романтическое" чувство к "отдельной" женщине закономерно подталкивает тургеневского героя к тому, чтобы присмотреться к "отдельному" дереву. В сцене на сеновале Базаров впервые рассуждает о природном объекте, признавая сложность, особость его внутренней организации. "Та осина <...> напоминает мне моё детство; она растёт на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них" (321–322). Ту осину уже не спутаешь ни с какой другой. Именно она в детстве казалась "особенным талисманом", именно с ней сегодня в сознании связаны специфические, особые воспоминания. Базаров не может не ощутить, что природа, как и любовь, противится его шаблонному, упрощённому восприятию жизни. И это пробуждает в нём неосознанное агрессивное чувство. Деревья из "добрых ребят" превращаются почти во врагов, союзников ненавистного "романтизма".

В том, что от "бесполезно" усложняющего человеческую жизнь искусства невозможно отгородиться химическими экспериментами ("Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта!" — 219) и сомнительного качества остротами ("Искусство наживать деньги, или нет более геморроя!" — 219) Базарову также приходится убедиться на собственном опыте. Ещё в десятой главке книги "сложный" Пушкин по всем статьям проигрывает в глазах Аркадия и Базарова "простому" Бюхнеру: « — Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это куда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать. — Что бы ему дать? — спросил Аркадий. — Да, я думаю, Бюхнерово "Stoff und Kraft" на первый случай. — Я и сам так думаю, — заметил одобрительно Аркадий. — "Stoff und Kraft" написано популярным языком...» (238–239). Но уже в двадцать первой главке наскоки Базарова на Пушкина выглядят неуклюже и неубедительно: « — "Природа навевает молчание сна", — сказал Пуш-

кин. – Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий. – Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил. – Пушкин никогда не был военным! – Помилуй, у него на каждой странице: На бой, на бой! за честь России! – Что ты это за небылицы выдумывашь! Ведь это клевета, наконец!» (325–326). Былой ученик очевидным образом выходит из повиновения учителю. И дело тут, думается, не столько в проснувшемся самосознании Аркадия, сколько в ослаблении позиции Базарова. «... он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... – описывает Тургенев начавшееся охлаждение между Базаровым и Аркадием в семнадцатой главке “Отцов и детей”. – Он как будто избегал, как будто стыдился его... Аркадий всё это замечал, но хранил про себя свои замечания» (286).

Подспудная неуверенность *Евгения* Базарова в собственных силах приводит к тому, что в одной из финальных главок “Отцов и детей” тургеньевский герой оказывается в положении своего знаменитого тезки – *Евгения Онегина* (Напомним в скобках, что в третьей главке “Отцов и детей” “Евгения Онегина” цитирует Николай Петрович Кирсанов. Напомним также, что и в “Евгении Онегине” и в “Отцах и детях” изображены две сестры, чьи характеры контрастируют друг с другом и взаимодополняют друг друга.) Для нас же сейчас важно, что сцена дуэли Базарова с Павлом Петровичем представляет собой очевидный пародийный парафраз соответствующего фрагмента пушкинского романа в стихах: «– Вы готовы? – спросил Павел Петрович. – Совершенно. – Можем сходитьсь. Базаров тихонько двинулся вперёд, и Павел Петрович пошёл на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... “Он мне прямо в нос целит, – подумал Базаров, – и как щурится старательно, разбойник!”» (352–353). Ср. в шестой главе “Евгения Онегина”:

“Теперь сходитесь”.

Хладнокровно,
Еще не цели, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не престаивая наступать,
Стал первый тихо подымать.

И далее:

Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянии...

Тот, кто ещё недавно полагал, что может безнаказанно сопрягать слова “искусство” и “геморрой”, сам очутился в положении персонажа литературного произведения. Это ли не свидетельство его беспомощности перед тайной взаимоотношения жизни и искусства?

Лучше других своё поражение сознаёт сам Базаров. Иронически пользуясь понятиями из “романтического” лексикона, он с деланной небрежностью замечает в разговоре с Аркадием: “...вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадёшь и в рыцарских турнирах участвовать будешь” (370).

Базаров запутался. Растерянность перед сложностью человеческой – в том числе собственной – жизни прочно овладела если не сознанием, то подсознанием тургеневского героя. Перед дуэлью с Павлом Петровичем он видит сон (что само по себе не очень вяжется с “антиромантизмом” Базарова), все персонажи которого, даже простая, “без хитростей” мать, предстают участниками абсурдного и мучительного хоровода (читай, абсурдного и мучительного жизненного круговорота): “Базаров лёг поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с чёрными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он всё-таки должен был драться” (350). О мотиве сна у Тургенева см. в новейшем исследовании: Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998.

Отметим, что Базаров в “Отцах и детях” вообще никак не может вырваться из заколдованного жизненного круга: из имения Кирсанова он переезжает в губернский город, из города в имение Одинцовой, оттуда – к родителям, от родителей – в имение Кирсановых и так без конца. Желание Базарова разорвать порочный круг и вернуться в Петербург (“ – Я к ним ещё вернусь. – Когда? – Да вот как в Петербург поеду” – 331) так и остаётся неосуществлённым. В финале романа герой вынужден признать своё поражение: “Попап под колесо...” (395).

3.

В начале книги уверенность Базарова в собственных силах отчётливо контрастирует с беспомощностью остальных персонажей романа, как “отцов”, так и “детей”. К финалу ситуация кардинально меняется. Базаров терпит полный жизненный крах, а отец и сын Кирсановы находят себя и своё место в жизни. Это отнюдь не означает, что Аркадий и Николай Петрович победили сложность жизни. Они по-прежнему ощущают её гнёт на своих плечах. “Николай Пе-

трович попал в мировые посредники, — сообщается о Кирсанове-отце в финальной главке, — «...» он произносит длинные речи «...» и всё-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных «...», ни необразованных дворян «...» И для тех и для других он слишком мягок» (399).

Однако, в отличие от Базарова, Аркадий и Николай Петрович оказываются способными на любовь к жизни, на то чувство, “преlestь которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих” (374).

Базаров же, утратив веру в спасительную силу своего нигилизма, предстаёт беззащитным перед равнодушием жизни к человеку. “... часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет...” (323) — сокрушается Базаров в двадцать первой главке романа. “...из меня лопух расти будет; ну, а дальше?” (325) — вопрошает он несколькими страницами ниже.

Ответ на этот, кажущийся риторическим, вопрос дан в последнем абзаце “Отцов и детей”: на могиле Базарова вырастает не “лопух” (символ равнодушия), а “цветы” (символ “святой, преданной любви”). Эти “цветы”, пишет далее Тургенев, «безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о великом примирении и о жизни бесконечной...» (402).

Само строение этих строк ясно показывает читателю, что благодаря своей сложности жизнь способна одновременно отразить и равнодушие и любовь к человеку, исходящие от природного “единого божества” (пользуясь формулой Толстого). Не случайно в романе равнодушие и любовь символически воплощены в образах родных сестёр — Анны Сергеевны Одинцовой и Кати.

Главные отличительные черты характеров Кати и Одинцовой, как это часто бывает у Тургенева, выявляет отношение сестёр к природе: “Катя *обожала* (курсив Тургенева. — О.Л.) природу «...» Одинцова была к ней довольно равнодушна” (286). Но уже при описании первого появления Одинцовой и Кати на страницах романа Тургенев употребляет слова, которые повторяются затем в последнем абзаце книги. В облике Одинцовой внимание Аркадия привлекает, прежде всего, “спокойное и умное, именно спокойное, а не задумчивое” (265) выражение глаз (ср. с пассажем о “вечном *спокойствии*” “равнодушной” природы в финальных строках “Отцов и детей”). Приведём также реплику Базарова, обращённую к Одинцовой: “... вы очень *любите* комфорт, удобства, а ко всему остально-

му очень *равнодушной*” (292). А вот Катю Базаров и Аркадий впервые видят с корзиной *цветов* в руках, причём функция этого мотива сходна с той, которую образ цветов играет в последнем абзаце романа. Когда Базаров заявляет, что “ни один ботаник не станет заниматься каждой отдельной берёзой”, Катя “с недоумением” поднимает на него глаза: она в это время “не спеша подбирала цветочек к цветку” (то есть как раз и занималась каждым отдельным цветком).

Чьё отношение к жизни – восторженное Кати или спокойное равнодушной Одинцовой – торжествует в финале “Отцов и детей”? Если исходить из объективных фактов, то придётся признать, что в более выгодном положении находится красавица и богачка Одинцова. “– Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста, – поспешно перебила Катя, – это для меня слишком невыгодно” (367).

Но объективным (“равнодушным”) фактам в романе не всегда придаётся то же значение, что и субъективным пристрастиям автора и некоторых его героев. Приведём пример. В двадцать пятую главку “Отцов и детей” Одинцова, беседуя с Катей, объективно-доброжелательно оценивает её внешние данные: “И руки твои хороши... только велики: так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка” (369). Спустя буквально несколько страниц выясняется, что эта расчётливая тактика (не взяла одним, так бери другим) не срабатывает. То, что объективно представлялось не вполне гармоничным (слишком большие руки), любящими глазами видится как прекрасное: “Он схватил её *большие прекрасные руки* и, задышавшись от восторга, прижал их к своему сердцу (...) она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слёз в глазах любимого существа, тот ещё не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек” (378).

Вряд ли мы будем неправы, если предположим, что под этим “кто” писатель, не в последнюю очередь, подразумевал именно Одинцову, которой, как сказано на одной из предыдущих страниц романа, до сих пор “не удалось полюбить” (283). Следует, впрочем, обратить внимание и на словечко “ещё”, играющее важную роль в приведённой цитате: “... *ещё* не испытал, до какой степени может быть счастлив на земле человек”. В этом “ещё” содержится тень надежды...

И Одинцовой в эпилоге “Отцов и детей”, где всем сестрам достаётся по серьгам, автором, хотя бы и полуиронически, представляется гипотетический шанс обрести любовь и счастье: “Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с

крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова, – человека ещё молодого, доброго и холодного как лёд. Они живут в большом ладу друг с другом и *доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви*” (399).

Как и в последнем абзаце книги, ледяное равнодушие и возможность любви не отрицают, а как бы взаимно дополняют здесь друг друга. Благоволение Тургенева в финальной главке “Отцов и детей” почти в равной степени распространяется и на Одинцову, и на Катю, поскольку обе сестры остались верны своему природному естеству, никогда и ни в чём не солгали другим и себе. Быть естественными людьми научились и Аркадий с Николаем Петровичем, а также родители Базарова, особенно Василий Иванович, превращающийся в символ отцовской любви из полуведевиляного старичка (во время обеда отсылающего, “из боязни осуждения со стороны юного поколения” дворового мальчика, который “в обыкновенное время отгонял мух большою зелёной веткой” – 314–315). Напротив, Ситников, Кукшина, камердинер Пётр и Павел Петрович в эпилоге “Отцов и детей” окончательно теряют собственное лицо, превращаясь в рабов тех искусственных личин, которые они сами когда-то выбрали.

Неслучайно для Николая Петровича женитьба на Фенечке послужила поворотным пунктом на пути к устранению лжи из своей жизни. Ну, а Павел Петрович благословляет брак Фенечки с братом вовсе не из “благоразумия и доброты”, как полагает наивный Николай Петрович, но из тайного, пусть и вполне бескорыстного, желания, увидеть в любимой женщине ровню. Косвенным подтверждением чего служит иронически описанный Тургеневым в эпилоге романа эпизод: “... У Фенечки он (Павел Петрович. – О.Л.), сверх того, поцеловал руку, которую та ещё не умела подавать как следует...” (398). Как видим, отношение к Фенечке вновь проявляет главное в братьях Кирсановых. Один брат, устранив ложную словесную преграду, становится счастливым человеком; другой, окончательно запутавшись в сложности своего чувства, но так и не научившись *любить* жизнь, превращается в “живой труп”: “Освещённая ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец” (363).

Евгений Базаров в эпилоге романа, пусть и помимо собственной воли (“... какое бы страстное, грешное, *бунтующее* сердце не скрылось в могиле...” – 402), “приобщается” к поколению “детей”. Изображение могилы непримиримого нигилиста и врага романтизма во всех его изводах завершается, как писал Герцен Тургеневу, “романтическим” гимном родительской любви “с дальним апрошем (подхо-

дом. – О.Л.) к бессмертию души” (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1963. Т. 27. Кн. 1. С. 217).

Однако и в заключительной главке книги Базаров предстаёт личностью иного калибра, чем “отцы” и “дети”. Он – трагический герой в окружении персонажей реалистического романа. “Отцы” и “дети” более всего озабочены тем, чтобы приспособиться к жизни; Базаров вступает в поединок с законами мироустройства, в конечном счете, – в поединок с Богом. Это сближает Базарова (пожалуй, единственного среди всех тургеневских персонажей) с бунтующими героями Достоевского. Недаром Достоевскому так по душе пришёлся Базаров. Отметим попутно, что образ камердинера Петра из “Отцов и детей”, по-видимому, отразился в лакее Смердякове. Ср. в главе “Смердяков с гитарой” “Братьев Карамазовых” и в романе Тургенева: “Пётр даже в третьем часу всё ещё пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе...” (336).

Бескомпромиссная честность Базарова позволяет тургеневскому герою не только отвергнуть пошлую, приспособленческую мораль Ситникова и ему подобных (“Я люблю комфорт жизни (...) Это не мешает мне быть либералом” – 259), но и с полным на то основанием заявить Аркадию Кирсанову при расставании: “... для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится (...) нам других подавай! нам других ломать надо!” (380). Вступив в неравную борьбу со сложностью жизни, Базаров готов “сломать” не только “других” (иногда очень близких ему людей: “Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил” – 389; ср. обыгрывание сходного образа чуть ниже: “... Василий Иванович (...) так и рухнул на колени перед образами” – 390), но и себя самого (“Решился всё косить – валяя и себя по ногам!” – 325).

Даже в предсмертном забытии герой Тургенева не сдаётся, пытается противопоставить сложности бреда простоту арифметики (– “дважды два четыре”): «“Не хочу бредить, – шептал он, сжимая кулаки, – что за вздор!”. И тут же говорил: “Ну, из восьми вычешь десять, сколько выйдет?”» (391). Поразительной и многозначительной, в свете выявленных нами выше реминисценций из Пушкина в “Отцах и детях”, кажется перекличка этих слов Базарова с фразой, по свидетельству В.И. Даля, произнесённой умирающим Пушкиным: “– Нет, не надо стонать (...) смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил; не хочу” (цит. по: Вересаев В.В. Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1984. С. 594).

Выбрав для себя путь “примирения” со сложностью жизни, одна из любимых тургеневских героинь – Катя – в эпилоге романа поднимает тост “*в память* Базарова” (398), отдавая должное величию *его* выбора. Не кроется ли здесь ответ на вопрос, почему сам Тургенев посвятил свою книгу “*памяти* Виссариона Григорьевича Белинского”, имя которого в письме к Герцену он назвал первым в ряду “истинных отрицателей”? (597).



Точка зрения

О ТВОРЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ АВТОРСКИХ РЕМАРОК Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

Упомянув такие глаголы, как *сказал, ответил, спросил, проговорил, вымолвил* и т.п., А.А. Илюшин писал в статье “Глаголы жеста у Ф.М. Достоевского”: «К ним тесно примыкают глаголы, по своему прямому значению относящиеся к иным семантическим группам, но пригодные и для обозначения речи: *прибавил, заметил, продолжал, заключил, согласился* и др. (...) Легко понять писателя, который избегает “скучных” слов *сказал, ответил*, не говоря уже о частых повторениях таких слов. Сами по себе они кажутся бесцветными. Допустим, герой что-то “сказал”; этого мало – важно знать, к а к он сказал: “сказал шёпотом”, “сказал так, словно мякнул”. Но в этих случаях предпочтительнее, пожалуй, такие конструкции: “... – прошептал он”, “... – мякнул он”. Это один из способов насытить прозу образными выражениями (...) Стилистически нейтральному глаголу речи предпочтается эмоционально окрашенный, экспрессивный» (Русская речь. 1969. № 6. С. 20–21; далее эта статья цитируется с указанием только стр.).

Замечу, что *прошептать* стилистически нейтральное слово со встроенным обстоятельственным значением, то есть, помимо семы “говорить, произносить”, есть сема “шёпотом”.

А *мякнуть* в роли глагола речи – результат метафорического переноса, метафора. И в отличие от *гавкать, лаять* в той же роли ещё, кажется, не языковая. *Мякнуть* в такой ипостаси, конечно, стилистически окрашено, образно. В его семную структуру тоже встроено обстоятельственное значение: “сказал, как мякнул”.

А.А. Илюшин, приступая к теме своей статьи, констатировал: “... в русской литературе появился писатель, дерзнувший внести в оформление диалога нечто совершенно необычное (...) Это был Достоевский. Вот некоторые примеры:

– По крайней мере вы-то на меня не сердитесь? – *протянул ему руку Ставрогин*.

– Нисколько, – *воротился Кириллов, чтобы пожать руку*.

– И вы уже смеётесь, о племя? – *рванулся было Шатов*.

– Да вот она, вся-то правда сидит! – *указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну*.

– ... но каковы же рифмы! – *лез он ко мне со своею пьяною рожей*.

- Стой! – уцепился он за моё пальто.
- Что с французского-то переводить? – опять скрючился Липутин” (21).

Автор статьи, называя эти авторские ремарки в диалогах “находкой писателя”, “стилистической новацией”, “стилистическим приёмом, изобретённым Достоевским”, “стилистической фигурой”, напоминает реакцию Тургенева на эту находку. Один из героев романа “Новь” говорит: «Сочинять этикие штучки с “начинкой”, да ещё с новомодными оборотами: “Ах! я вас люблю! – подскочила она”, “Мне всё равно, – почесался он”...». А.А. Илюшин полагает, что “...выражения Достоевского, о которых идёт речь, – метафорические. Здесь налицо перенесение признаков одного действия на другое”(23).

С этим трудно согласиться. Перенос есть. Но не по сходству, а по смежности, то есть здесь не метафора, а метонимия. И у Достоевского, и у Тургенева в пародии на Достоевского.

Упомянутые и подобные им случаи авторской речи в диалогах Достоевского, «включают в себя не глагол речи (как у других писателей), а глагол движения. Здесь даже лучше, на наш взгляд (пишет А.А. Илюшин. – *Эр. Х.-П.*), подошёл бы другой термин – “глагол жеста” (...). Речь идёт ведь не вообще о движении, а о телодвижении. Предлагается понимать жест в самом широком смысле: движение не только руки, но и всего тела, и мимика лица» (21–22).

Думаю, что следует всё же говорить о глаголах движения, понимая под последними перемещение в пространстве какого-либо, движение верхних и нижних конечностей, движение лицевых мышц, движения, выражающие чувства, состояния человека. Даже смена температурных ощущений, смена окраски кожного покрова – опосредованное выражение движения чувств. Ср. возможное: “Не может быть, – *похолодел* Трегубов” или “Тоже, скажете, – *зарделся* Зубцов”.

А.А. Илюшин не называет приведённые им примеры из Достоевского синонимами глаголов говорения. А по поводу реплик *покоробило Варвару Петровну* и *перекосилось вдруг всё лицо Катерины Ивановны* говорит, что здесь невозможна замена “глаголов жеста” глаголами речи. Другими словами, невозможна синонимия. Но ведь допустимо написать: *спросила покоробленная Варвара Петровна*. У Достоевского *покоробить* в языковом метафорическом значении употреблено в авторском метонимическом значении как окказиональный синоним глагола говорения, то есть языковая метафора в авторском метонимическом употреблении.

Что до второго примера, то и здесь возможна синонимическая замена: *воскликнула, вдруг перекосив всё лицо, Катерина Ивановна*. В метонимическую ремарку Достоевского встроено обстоятельственное значение.

Когда синонимами глаголов говорения выступают глаголы, называ-

ющие действия чувств, их движения, то есть состояния как деятельность, возможна разная интерпретация. Прав А.А. Илюшин, когда по поводу ремарки типа *устыдился он* пишет, что она “в равной степени может относиться и к стыдливой интонации говорящего, и к сконфуженному выражению его лица, и к смущённому, неловкому жесту” [22]. Добавим: и к краске стыда.

Возьмём из примеров, указанных Илюшиным: “– Как! – *вспыхнула* Дуня...”. *Вспыхнуть* имеет в языке три метафорических значения. Достоевский употребляет глагол в неязыковом метонимическом значении: “сказала (воскликнула, крикнула), *вспыхнув*”. Вот это *вспыхнув* – что оно здесь означает: “придя в возбуждённое, раздражённое, гневное состояние” или “испытывая потрясение”, или “покраснев от волнения, радости, смущения”? *Вспыхнула Дуня* – *вспыхнула* контекстный, окказиональный синоним к глаголу говорения, обременённый диффузно-стыго обстоятельственных значений.

Все эти синонимы глаголов говорения контекстны и метонимичны. Они обладают изобразительной силой.

Тургенев, прекрасно знакомый с европейской литературой, уловил новизну приёма Достоевского. И не принял его.

Приём, рождённый Достоевским, имеет языковые предпосылки, имеет языковых предшественников. Когда мы читаем у Пушкина *Катятся ядра, свищут пули*, мы не замечаем метонимического переноса. Он уже оязыковлен. Движение пули передано через сопровождающий её звук. Мы говорим: *прожужжала пчела*. Полёт пчелы передан через обозначение звука, сопровождающего его. *Протарахтела телега* – это ведь “проехала тарыхтя”. Тоже оязыковленная метонимия.

Достоевский расширил существовавшую в языке метонимическую модель: в языке смежность, параллельность движения предмета и звука, издаваемого им, названа по звучанию, а у Достоевского параллельность движения человека и звучания его речи названа по движению.

Если вспомним такие глаголы говорения, как *чирикать*, *трещать*, *щбетать*, *проскрипеть*, *просинеть*, то это оязыковленные метафоры (*чирикать*, *щбетать*, *трещать*) и метонимии (*проскрипеть*, *просинеть*). И в них говорение через обозначение звучания. Ср., например, у Некрасова: «Хриля, “Дубинушку” стонал».

У Достоевского другое. Но импульс все эти метонимии и метафоры получили от закона экономии языковых средств. Он использовал их в своих интересах. Этот закон действует не в языке, а в речи. Результаты его действия могут быть приняты языком (как, например, *протарахтела*, *свистят*, *чирикать*, *просинеть*, *проскрипеть*). А могут так и остаться речевыми фактами. Конечно, в художественной речи пишущие не думают о законе экономии. Их заботит изобразительность глагола, его, так сказать, зрительность, его образность. Их заботит избавление от надоедливой однообразия авторских вкраплений в диалоги.

Всё так. Однако и здесь, по-моему, незримо присутствует, действует неосознанный авторами упомянутый закон.

Возьмем два примера из Чехова:

“То есть ... почему же меня не пускать? – *обомлел* Кокин. – Я из редакции” (“Тряпка”). “Ну, ну, ну!... – *засуетился* старик. – Аксюта, угомонись, матушка...” (“В овраге”). *Обомлел, засуетился* здесь = “спросил обомлев”; “сказал засуетившись”. Эти *обомлел, засуетился* неполные синонимы (квазисинонимы) к языковым глаголам говорения *спросил, сказал*. Они неполные потому, что у них есть приращение смысла, есть сема, отвечающая на обстоятельственный вопрос к а к? Но эти *обомлел, засуетился* синонимы только в данном тексте. Точно так же, как *пикейные жилеты* Ильфа и Петрова были метонимическим синонимом к слову *обыватели*, а *вздыхающие рыжие панталоны* в рассказе Чехова были контекстным синонимом к обозначению их носителя.

При обсуждении темы пришлось столкнуться с мнением, что глаголы в прямом своём значении, не относящиеся к глаголам говорения, но с лёгкой руки Достоевского, прижившиеся у других авторов, – это тоже самое, что и ремарки в пьесах. Однако ремарку актёр играет. Кроме того, она не всегда синхронна реплике. Например: “**Боркин** (*хохочет*). Ну, ну... виноват, виноват. (*Садится рядом*). Не буду больше, не буду... (*Снимает фуражку*). Жарко. (...)” (А.П. Чехов, “Иванов”); “**Иванов**. (...) Вся суть в том, милый доктор (*мнётся*), что ... короче говоря, женился я по страстной любви и клялся любить вечно, но ... прошло пять лет, она всё ещё любит меня, а я... (*Разводит руками*) (...)” (Там же); “– Что вы... Стоит ли... – *растерялся* Заур” (Фазиль Искандер. “Сумрачной юности свет”); “– Нахала надо проучить, – *пригрозил пальцем* Абесоломон Нартович...” (Там же).

Точка зрения

“МНЕ ВСЁ РАВНО, – ПОЧЕСАЛСЯ ОН”

А.А. ИЛЮШИН.

доктор филологических наук

...Или – там же у Тургенева в романе “Новь” – несколько энергичнее: “Ах! Я вас люблю! – подскочила она”. Именно так: она не “воскликнула”, а “подскочила”; он в ответ не “промямлил”, а “почесался”. Вместо глаголов речи, говорения употребляются глаголы жеста, движения. Подобные стилистические фигуры ввёл в нашу прозу Достоевский: “– Стой! – уцепился он за моё пальто”. Тургенев же пародирует автора “Бесов”, высмеивая «этакie штучки с “начинкой”, да ещё с новомодными оборотами...». Однако находки Достоевского оказались полезными, были освоены последующими писателями.

В давнишней статье о глаголах жеста у Достоевского (Русская речь. 1969. № 6) я высказал предположение о метафорической природе таких “новомодных оборотов” – ввиду подмены обозначения одного действия обозначением другого, в результате чего произносимое, слышимое становится как бы движущимся и видимым. Мне возражает Эр. Хан-Пира, автор работы, публикуемой в этом номере журнала: “С этим трудно согласиться. Перенос есть. Но не по сходству, а по смежности, то есть здесь не метафора, а метонимия. И у Достоевского, и у Тургенева в пародии на Достоевского”. Казалось бы, велика ли разница: метафора, метонимия? “Мне всё равно, – почесался он”. Между тем, разница всё же есть. Только для меня она заключается не в том, в чём её видит мой оппонент.

В переводе с древнегреческого метафора – перенесение, метонимия – переименование, то есть буквально перенесение имени. Имени, а не глагола! Мы же имеем дело с глаголами, а не с именами. Не та область, где уместно вспоминать о метонимии. Простейший пример: что такое “дождь идёт”? Метафора, ибо здесь метафоричен глагол *идёт*, а не метонимия, ибо здесь *имя* существительное *дождь* предстаёт в своём прямом (непереносном) значении. Такое элементарно-традиционное понимание вопроса отнюдь не противоречило установкам академической науки, сохранившимся и спустя годы после публикации той статьи о глаголах жеста у Достоевского: “Русский язык. Энциклопедия”. М., 1979 (см. в этом издании статьи “Метафора”, “Метонимия”, “Имя”). Правда, иногда метонимию связывают-таки и с глаголами (Шмелёв Д.Н. Совре-

менный русский язык. Лексика. М., 1977. С. 99; Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 300–301), но примеры приводятся неубедительные: “косить сено”, “завязать ботинки”. В таких словосочетаниях метонимизации подвержены не глаголы (*косить*, *завязать*), а имена существительные: *сено* вместо *травы*, *ботинки* вместо *инишников* – то есть и здесь налицо переименование, спровоцированное смежностью предметов, названных именами, а не действий, обозначаемых глаголами. Кстати, нелишне заметить: отлучая метонимию от глагола, я вовсе не предлагаю “соответственно” отлучить метафору от имени. Нет, метафора более широкое понятие, она может быть как глагольной, так и именной (“нос корабля”, “крыло самолета”).

В том, что Достоевский (а не кто-либо) изобрёл рассматриваемые сгилистические фигуры, подозревается некая закономерность. В своей знаменитой книге о нём М.М. Бахтин, анализируя его поэтику, писал о речи приниженной, корчащейся в присутствии или предчувствии “чужого слова”. Речь “корчится”! – превосходная метафора. Если бы речь “звучала” или “произносилась”, никакой бы метафоры не было. Но, может быть, всё-таки и это не метафора, а метонимия? Как посчитать. Уточняя, что речь на самом деле не корчится, а звучит, мы подходим к данному выражению как к метафоре. Однако если настаивать на том, что корчится не речь, а произносящий её, то почему бы не интерпретировать это как метонимию? Довод в пользу Эр. Хан-Пире: перенос-переименование не по сходству, а по смежности (речь – говорящий).

Возвращаясь к рассматриваемым конструкциям у Достоевского: чувствуется, что двух взаимоальтернативных мнений на этот счёт (метафора или метонимия?) для решения данного вопроса недостаточно. Напрашивается третий вариант: ни то и ни другое. А что же? Ну, допустим, эллипсис, то есть пропуск, опущение в тексте чего-то, подразумеваемого по смыслу. Грибоедовский Скалозуб: “Мне совестно, как честный офицер”. Нужно бы: “говорю как честный офицер”, но “говорю” пропущено. (Хотя в “Поэтическом словаре” А. Квятковского эта грибоедовская строка приведена как пример не эллипсиса, а анаколуфа, то есть синтаксической несогласованности.) И вся-то премудрость, и никаких метафор. Может быть, так же или почти так же обстоит дело в наших случаях с Достоевским – опускаются подразумеваемые глаголы говорения, а глаголы жеста остаются в тексте. Жаль, если это правда, ибо она какая-то скучная, теряется ощущение чуда, ощущение речи, обретшей зримую форму, речи “корчащейся”.

Да, прекрасна иллюзия, когда слышимое, но не видимое (звучащее слово, речь) становится как бы видимым. Мы более привыкли к другой, противоположной иллюзии – слышим, как звучит безмолвие, звенит тишина. Словесность издавна изобилует образами возглаволавшей немоты. Донец-река “рече” (сказал) князю Игорю... и следует “моно-

лог“ Донца. Пролитая кровь князя Курбского “вопиет” на царя Ивана. Звезда с звездой говорит. Неудачно изображённая художницей-дилетанткой церквушка жалобно пищит. В басне Крылова Подагра беседует с Пауком. Подобные примеры не нужно искать специально, они повсюду. Но как увидеть слово, если оно не пишется, а произносится вслух? Скорее, его можно ощутить обязательно: острое слово уязвляет. Или на вкус: чья-то речь слаще мёда. Или обонянием: “болтали цинично и пряно”. Но чтобы слово корчилось! Корчится тот, кто сказать не может, как у Маяковского: “улица корчится безъязыкая – / ей нечем кричать и разговаривать”. Однако Достоевский был гениальным иллюзионистом: “– Что с французского-то переводить? – скрючился опять Липутин”. Не спросил, а скрючился; скрючился не столько телом, сколько словом (иначе было бы: “спросил, скрючившись...”).

Ничего, Тургенева-пародиста тоже можно понять (и порадоваться: очень же остроумная пародия, причём не от себя лично он критикует, а устами своего героя!). Во-первых, они с Достоевским были литературными недругами, и в “Бесах” есть куда более язвительная пародия на Тургенева-мистика. Во-вторых, Тургенев далеко не всегда был благодарно-восприимчив к смелым и дерзким стилистическим новациям, предлагавшимся его современниками. По-видимому, он был убеждён в том, что великие шедевры художественности можно создавать, используя при этом исключительно апробированные, признанные приёмы стиля. Не исключено, что и вправду можно. Однако естественно и то, что гению бывает тесно в установленных рамках.



“Золотистого мёда струя...”

О.П. ПОПОВ

Л.Н. Толстой восхищался простотой начальной фразы у Пушкина: “Гости съезжались на дачу”. Вот так же просто, обычной бытовой картиной, начинается стихотворение Осипа Мандельштама:

Золотистого мёда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
“Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем”, – и через плечо поглядела.

Можно было бы не обратить внимание на слова “тягуче и долго”, но Таврида всё-таки печальная. И почему хозяйка “через плечо поглядела”? Вероятно, кто-то и не согласится с ней. Этим “кто-то” был, очевидно, хозяин дачи, столичный художник Судейкин. Его мнения мы, правда, не услышим, за него скажет поэт:

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, – идёшь – никого не заметишь.
Как тяжёлые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса – не поймёшь, не ответишь.

Углубляется тема скуки. Дни – *как тяжёлые бочки*. Пустынно, безлюдно вокруг. Даже горы уснули. В этой и в следующей строфе точно и своеобразно изображены крымские виноградники.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы – на окнах опущены тёмные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

И дом словно уснул (прекрасное сравнение штор с опущенными ресницами). Но если бы главным мотивом стихотворения была скука, это был бы не Мандельштам. А Мандельштам незаметно переходит к очень важной для него теме эллинизма. Он был убежден в том, что культура Рима перешла в Западную Европу, а эллинская – в Россию, в основном, через Крым. И в этом сонном царстве живёт только то, что

связано с греческой культурой. Живёт виноград – и как живёт! – ведь в нём “наука Эллады”.

Я сказал: “Виноград, как старинная битва, живёт,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады, – и вот
Золотых десятич благородные, ржавые грядки”.

Увидеть сходство переплетения виноградных листьев и завитых усиков со старинными гравюрами, тоже полными завитушек, мог только зоркий художник. И это великолепное сравнение сыграло некоторую роль в судьбе поэта. Когда он был арестован врангелевской контрразведкой в Феодосии, Илья Эренбург и княжна Майя Кудашева пошли побежали в Коттебель, надеясь на помощь Максимилиана Волошина, авторитет которого был велик. Но незадолго до этого у Волошина произошла ссора с Мандельштамом, потерявшим редкую книгу из библиотеки Волошина, и он вначале не хотел и слышать о Мандельштаме. Тогда Эренбург напомнил об этом сравнении. Волошин ответил, что и сам признаёт талант Мандельштама, и написал резкое письмо начальнику контрразведки. Мандельштама освободили.

Итак, в стихотворении возникла тема эллинизма, и она будет углубляться, оттесняя всё остальное.

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, –
Не Елена, другая, – как долго она вышивала?

Из крымского дома свободный переход в греческий. И опять неожиданное сравнение: почему прялка? Да потому, что в каждом греческом доме была прялка, её жужжание оживляло дом, а если она умолкала, тишина становилась особенно заметной.

Имя Елены поэт отбрасывает с некоторой досадой, будто боясь, что оно может придти кому-то в голову. А имя Пенелопы даже не называет, оно известно каждому. Только почему она вышивала? Мандельштам знал, конечно, что она ткала полотенце. Но тогда в доме не было бы такой тишины. Да и женихи быстро поняли бы, что их обманывают, соткать полотенце можно за одну ночь. Гречанки же не только ткали, но и вышивали полотенца, а вышивать можно и очень долго.

Последняя строфа – великолепное завершение темы:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжёлые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Тишины уже нет, шумели тяжёлые волны (выразительный эпитет – *тяжёлые*). Одушевлён корабль – труженик, натрудивший свои паруса.

Золотое руно не найдено, да и зачем оно Мандельштаму, всё имущество которого подчас состояло из коробки папирос? Было главное, для поэта бесценное, – пространство и время. Пространство – это сегодняшний мир. Время – история, в которой всё взаимосвязано. А искусство – плуг, поднимающий древние пласты истории, соединяющий их с настоящим (“Время вспахано плугом, и роза землёю была”, – писал он в стихотворении “Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...”).

Пятистопный анапест, которым написано стихотворение, уверенный, твёрдый, как поступь атлета, подчёркивает услышанный поэтом ход истории. От обычной бытовой сцены он ведёт к высотам искусства, причём этот неимоверно трудный переход совершается просто и естественно, как бы сам собой. Ведь и Мандельштам в своих скитаниях по Крыму, а затем по Кавказу, тоже “наполнялся пространством”, вновь и вновь ощущал связь времён, и незначительного повода ему было достаточно для перехода к широчайшим обобщениям.

*Семибратово,
Ярославской области*



“... К звёздам поднимающийся свет...”

Из Пушкинианы Кирилла Померанцева

Русская трагедия начала XX века привела к небывалому в истории Русскому Исходу, к эмиграции миллионов наших соотечественников, а эмиграция, в свою очередь, скорректировала знаменитые, прежде неоспоримые слова гения:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Теперь, после катастрофы и Исхода, расколовшего надвое и державу, и нацию, и культуру, речь зашла не только о том, “как” или “когда”, но и о том, отзовется ли то или иное “слово” вообще, дойдёт ли это “слово” до родных берегов, а если и добредёт, то суждено ли ему быть услышанным и понятым. Кончается воистину страшный для России век – но многое из произнесённого не дошло и поныне, застряло на чужих полустанках, превратилось в затихающее вдали эхо.

В нью-йоркском “Новом журнале” когда-то (1961. № 65) были

напечатаны такие стихи:

Близится вечер. Ну что ж, господа,
Жизнь прожита, изжита навсегда.
Много, конечно, случиться б могло,
Да не случилось, не произошло.
Много надежд улетело в трубу.
Глупо теперь всё валить на судьбу.
Но, может быть, среди радужной тьмы
Плохо историю поняли мы?
Не разглядели?..

Ну что ж, господа,
Бог даст и так скоротаем года.
Наши, теперь уж не многие лета,
В апофеозе вечернего света.

Так пытался подвести итоги прожитого русский изгнанник. Пытался – и сомневался, не уходил от “проклятых вопросов” – но и не мог разрешить их, смирялся и бестрепетно ожидал наступления сумерек. Звали умудрённого изгнанника – Кирилл Дмитриевич Померанцев. Звали и знали, разумеется, там, среди уцелевших “господ”, а тут, на родине, о нём до самого последнего времени и слыхом не слыхивали.

Что ж, имеющий уши – теперь да услышит. Родился Кирилл Померанцев в Москве в 1906 году и с раннего детства писал стихи. Когда случилась революция, его семья покинула первопрестольную, двинулась на юг и в конце концов оказалась в 1920 году в Константинополе. В Турции юноша окончил русскую школу для беженцев, а затем, в 1927 году, перебрался в Париж. Стал заправским французским рабочим, а позднее, в ходе мировой войны, вступил в ряды Сопротивления, доблестно сражался с врагом.

Имени Померанцева нет во многих авторитетных литературных справочниках; например, о нём напрочь забыл Г.П. Струве, автор широко известного исследования “Русская литература в изгнании”. Между тем в послевоенные годы Кирилл Дмитриевич уверенно вошёл в литературу Зарубежной России и занял в ней довольно заметное место. Его стихи и очерки печатались в крупнейших эмигрантских изданиях, таких, как “Вестник РСХД”, “Опыты”, “Мосты”, “Возрождение” и др. Высокую оценку получили и его мемуары “Сквозь смерть” (1986); по мнению некоторых критиков, это была одна из лучших мемуарных книг, созданных русскими беженцами на чужбине. Стоит отметить и дружбу Кирилла Померанцева с Георгием Ивановым, большим поэтом, “мэтром”, который воздал должное талантам собрата по музе и по судьбе.

Скончался Кирилл Дмитриевич Померанцев в Париже, причём совсем недавно – 5 марта 1991 года. Нас, просвещённых россиян, тогда волновали глобальные проблемы – и смерть русского поэта, смерть тихая и далёкая, как водится, прошла незамеченной...

Долгой была его жизнь – и много тем затронуто в творчестве. Писал Померанцев и о Пушкине, писал своеобразно. Эти работы, опубликованные в газетах “Новое русское слово” (Нью-Йорк) и “Русская мысль” (Париж), ещё предстоит собрать и преподнести отечественному читателю; нет сомнения, что такая подборка станет заметным явлением в пушкиноведении. Пока же можно ознакомить публику с одной из наиболее любопытных, глубоких статей К.Д. Померанцева, посвящённой анализу пушкинского “Пира во время чумы”. Данный этюд был напечатан в парижском журнале “Возрождение” (1957. № 62).

Наверное, следовало бы сопроводить публикацию пространным рассуждением о статье, о методологии автора – так ведь положено. Но мы уйдём от канонов и попробуем сформулировать суть сочинения Померанцева его же собственными словами, а точнее – стихами, опубликованными опять-таки в “Новом журнале” (1964. № 76):

Когда-нибудь,

О, я уверен в этом, –

Проснувшись ночью, вдруг увижу я,

Что за окном едва заметным светом

Как будто занимается Земля.

Как будто всё: и ночь, и город спящий,

Преобразил неведомый рассвет.

И это будет не от звёзд сходящий,

Но к звёздам поднимающийся свет.

Вот об этом-то свете, отражении иного Света, о свете, которым, не смотря ни на что, “занимается Земля”, и писал всегда Кирилл Померанцев. О том же – и публикуемый этюд, и мнится, что сказанного хватает с лихвой: имеющий уши да услышит, хотя бы теперь.



К. ПОМЕРАНЦЕВ

“ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ”

О трёх сознаниях

Схематичны и приблизительны всякие деления. Даже различие науки и искусства приблизительно. Наука, как и искусство, является проявлением человеческой деятельности. И здесь и там присутствует человек.

Схематичны деления и внутри самого искусства. Есть, например, проза, как у Гоголя, где поэзии несравненно больше, чем во многих так называемых поэтических произведениях, написанных по всем правилам стихотворения.

И уж тем более схематичны и приблизительны “критические статьи”. Приблизительны хотя бы потому, что они всегда рассматривают данное произведение с какой-либо одной определённой точки зрения.

Никогда не надо забывать, что существуют и другие точки зрения, иногда диаметрально противоположные, хотя совершенно одинаково обоснованные.

Лишь в свете этих замечаний мне хочется высказать несколько мыслей о Пушкине, в частности, о “Пире во время чумы”, одной из замечательнейших драматических сцен в мировой литературе.

Сделаю ещё одно предварительное замечание. “Пир во время чумы” мне кажется характерным для творчества Пушкина, для его восприятия мира, его представления о мире, но отнюдь не для характеристики нашего времени, как это очень легко многим может показаться.

Никакого “Пира во время чумы” в наше время не происходит. Происходит же или бегство от “чумы”, или, как в большинстве случаев, даже незнание и непонимание того, что мир обьят “чумой”. Пушкинские герои “девы-розы пьют дыханье, быть может, полное чумы”, тогда как наши соотечественники от современной “чумы” спасаются в железобетонных убежищах, а хвалу поют электрическим бритвам и высокой удоиности колхозных коров. “Пир во время чумы” должен рассматриваться не во времени, не в его отношении к какой-либо эпохе, но в его отношении к человеческому сознанию и к самому человеку. Он говорит не о том, что вне человека, но о том, что *внутри* человека.

Характерным для творчества Пушкина является и характерная для России *трихотомия*, троичное, а не двоичное, как на Западе, деление мира и человека. После восьмого поместного собора 869 г.¹ на Западе было принято учение о дихотомии, о признании в человеке двух начал: души и тела, и осуждено учение о трихотомии. Трихотомия осталась на Востоке. Восточные церкви учат о троичной природе человека: о теле, душе и духе.

Россия троична, Запад двоичен. Ни русская философия, ни русская литература никогда не проводили таких резких границ между добром и злом, как это делали на Западе. “Потерянный Рай” Мильтона, “Мессиада” Клопштока, “Божественная Комедия” Данте, “Фауст” Гёте являются, в какой-то степени, непреодолённым манихейством², свидетельством о вечной борьбе двух начал: добра и зла, света и тьмы.

Россия же как бы родилась под Троицей. Символично и симптоматично призвание именно *трёх* князей³. Так же многозначительна любовь русского человека к *трём* старшим и *трём* младшим богатырям⁴. Создаётся впечатление, что русский человек не умеет, да и не хочет делить мир на две половины, на два противоположных друг другу лагеря. В сказках присутствуют не две сестры, а *три*: доброй противопоставляется не одна злая, а две. Русский человек как бы боится воплотить зло в одном существе, он его разделяет.

Тысячелетнее царство должно было быть осуществлено Третьим Римом или Третьим Заветом.

И это восприятие мира, его троичное деление, характеристика мира

из трёх противоположных друг другу точек очень характерны для Пушкина. В “Евгении Онегине” – три главных героя: Онегин, Татьяна, Ленский. В “Сказке о рыбаке и рыбке” – та же троица: Старик, старуха, рыбка. В “Пире во время чумы” – Председатель, Мери, Старый священник.

Священник судит, Председатель поёт гимн Чуме. Мери же никого не судит и ничего не прославляет. Её песня – одно из совершеннейших стихотворений в мировой литературе: горестное свидетельство о горестном мире. Поразительна простота, с которой оно написано. Поразительны до предела простые слова, которыми Пушкин – через Мери – характеризует страшную земную действительность. Это уже не священная, это святая простота:

Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта...

Вот хотя бы эти две строки: они относятся к Богу и к детям, характеризуют землю через отношение человека к Богу и к детям. И как соблазнительно написать на эту тему целый трактат: “Отношение человека к Богу и к детям во время стихийного бедствия”!

Пушкин же ограничивается двумя строками. Но зато эти две строки имеют ту магическую силу настоящей поэзии, которая уже сама пишет целые трактаты в человеческих душах.

Не слова страшны, а действительность. Страшные слова о страшной действительности дают приблизительно тот же результат, как умножение минуса на минус. Они ослабляют, а не усиливают. Величайшим образцом предельной простоты является евангельское повествование. Евангелие говорит о самых больших событиях человеческой истории самыми простыми словами. И это отнюдь не значит, что евангелисты безразличны к тому, что они описывают. Они связаны с евангельским рассказом, они его часть, каждая деталь их волнует, каждое слово ими пережито. Но поэтому-то эти слова так просты. В этом тайна евангельского рассказа.

Такая же простота и в песне Мери. Мери поёт о страшном горе, о величайшем бедствии, постигшем её родной край. Она поёт о себе, о своей любви, быть может, о близкой, совсем близкой своей смерти. Поёт обыкновенными, как будто даже безразличными словами. Но Председатель называет её песню “жалобной”, а саму Мери “задумчивой”:

Благодарим, задумчивая Мери,
Благодарим за жалобную песню!

Песня Мери вызвала то, что и должна была вызвать: жалость – жалость к людям и жалость к миру. Самое большое чувство, на которое способен человек, – то, которое роднит его с Богом. Потому что Бог из жалости к миру послал на страдания и смерть “Сына Своего Единород-

наго". Потому что жалость к миру есть любовь к миру, и как не может быть жалости без любви, так не может быть и любви без жалости.

"Жалость" Мери передалась окружающим, потому что это жалость вышедшей из *сердца задумчивой песни*:

Нет, ничто
Так не печалит нас среди веселий,
Как томный, сердцем повторенный звук!

Святые отцы учили об "Умной молитве": "Положи ум твой в сердце свос". "Задумчивая" песня Мери вышла из её сердца. На святоотеческом языке её следовало бы назвать "Умной песней". Потому-то она так прекрасна и так действительна.

Если "задумчивая песня" Мери есть почти евангельски простое повествование о действительности, то песнь Председателя есть попытка вырвать человека из этой действительности, найти её не только поэто-, но и потусторонний смысл.

Но попытка эта – безбожная попытка:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъярённом океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог...

В том-то и парадокс смерти, что она является залогом бессмертия. Человек становится бессмертным через смерть. "Если пшеничное зерно падши умрёт, то принесёт много плода"⁵. Вот почему в центре мировой истории стоит крест с распятым на нём Сыном Божиим: безумие для эллинов и соблазн для иудеев! Мёртвое тело стало символом вечной жизни.

Замечательна именно религиозная глубина песни Председателя. В ней Пушкин говорит не только о "бессмертии смерти", но и о том, каким именно образом

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Но Председатель, для того, чтобы собравшиеся с наибольшей интенсивностью пережили то, о чём он поёт, предлагает им:

Нальём бокалы,
Утопим весело умы!..

В этих словах – настоящий ключ к пониманию “Песни”. Объяснить рационально, “на основании данных естественных наук” и аристотелевской логики, каким образом гибель, то есть смерть, может притягивать человека и почему нормальный и здоровый человек, может найти упоение в “дуновении чумы”, в том, что через несколько дней, а быть может, и часов, его уже не станет, – невозможно. Естествознание и наука учат как раз обратному: в человеке заложен инстинкт самосохранения и врожденный ужас перед смертью. Но, вопреки всем стараниям учёных, бездна человека всё же притягивает. И это притяжение тем более сильно, чем обыкновенное, ясное, дневное человеческое сознание более приглушено. Надо угасить дневное сознание, чтобы из глубины человеческого существа поднялось подсознание, сознание ночное. Все наркотики, и алкоголь в их числе, только этому и служат. Песнь Председателя есть, в сущности, песнь человеческого подсознания, песнь его ночного сознания. Того, что лежит за гранью сознания и человеком ещё не осознано.

Потому что в человеке есть им осознанный дневной инстинкт жизни и им неосознанный, ночной инстинкт смерти. Это совсем не тот инстинкт, о котором говорил Фрейд, а за ним и все психоаналитики. Психоаналитический инстинкт смерти есть не что иное, как вывернутый наизнанку половой инстинкт. То, о чём поёт Председатель, гораздо глубже психоаналитических экскурсий в человеческое подсознание. Подлинный инстинкт смерти – это смутное Воспоминание человека о райском блаженстве, надежда на его возвращение и вера в бессмертие: “Бессмертья, может быть, залог!” Но как раз райское блаженство и бессмертие являются безумием и соблазном для ясного дневного сознания. И это сознание должно быть притуплено, умы должны быть утоплены в вине, чтобы человек начал чувствовать

Упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы!

Всё это вовсе не значит, что человек должен отказаться от своего сознания и, утопив свой ум в вине, погрузиться в подсознание. Вино действует не правомерно. Оно, подобно библейскому змию, лишь прельщает человека: “вкусите и будете, как боги”⁶. Обнажая подсознание, вино заглушает сознание. “Утопленный ум” ущемляет и умаляет человека. Он отбрасывает всё то, что создало и накопило человеческое сознание, он старается вырвать человека из истории, из земного существования. Он и эту историю, и само человеческое существование на земле делает бесцельным. Но Сын Божий Своим существованием на земле освятил человеческое существование и придал смысл человеческой ис-

тории. Нужен не уход из этого мира ради мира иного, не отказ от света сознания ради тьмы подсознания, но уготование жизни в том мире жизнью в этом мире, освещение подсознания светом сознания. Путь, к которому призывает Председатель – путь прельщения, люциферического путь. Путь неправомерный, путь дьявола, а не Бога.

Поэтому и первые слова Священника будут:

Безбожный пир, безбожные безумцы!

Эта характеристика пира, особенно после песни Председателя, – совершенно точная характеристика. Приходится только поражаться, с какой абсолютной точностью Пушкин выбирал и ставил эпитеты.

После слов осуждения, обращённых к пирующим, Священник говорит:

Когда бы стариков и жён моления
Не осытали общей, смертной ямы. –
Подумать мог бы я, что ныне бесы
Погибший дух безбожника терзают...

Пир во время чумы и страшный, люциферический смысл этого пира, раскрытый Председателем, вызывают в старом Священнике картину терзаемого бесом духа безбожника. И здесь поэтическая точность Пушкина становится уже точностью богословской.

Но богословская точность присутствует и во всём произведении в целом. Сначала, в песне Мери, Пушкин даёт объективную картину земной действительности. Не случайно эта картина дана в самом начале драмы, когда пирующие ещё не “упились вином” и когда эта действительность не представляется им искажённой опьянением, люциферическим прельщением, грехопадением.

Мери – это как бы образ человека до грехопадения.

Мери – женщина. Она рисует картину земли, которую любит, и каждый образ её песни говорит об этой любви. И не возникает ли здесь образ Другой Женщины, скорбно присутствующей при страданиях и смерти её любимого Божественного Сына? Мери, как и Богоматерь, как будто знает, что иначе в мире и не может быть: “В мире будете иметь скорбь”, – завещал Христос⁷.

Затем идёт песнь Председателя, люциферическое искушение, грехопадение. Попытка уйти из мира, не заплатив долга миру. Желание унести в духовный мир не очищенную, но отягощённую грехами и соблазнами душу. Второе евангельское искушение: “Если Ты Сын Божий, бросься вниз”⁸. И Председатель, как и евангельский искушитель, обещает собравшимся не смерть, а бессмертие.

Противопоставленная песни Мери, песня Председателя раскрывает мир человеческого подсознания, мир люциферического соблазна и лжи. “Он есть лжец и отец лжи”, – сказано в Евангелии⁹.

Председатель – это образ соблазнённого Люцифером человека. Его песнь – грехопадение.

Третьим выступает Священник. Первые же его слова свидетельствуют о том, что ему дано различие добра и зла и что он знает, “каково кто духа”:

Безбожный пир, безбожные безумцы!

· Опять совершенно точно: люциферический пир находящихся вне сознания людей.

Интересно, что начавший с осуждения Священник молится за Председателя и просит у него прощения:

Спаси тебя Господь!
Прости, мой сын.

На этом драма кончается, и Пушкин в скобках прибавляет: “Священник уходит. Пир продолжается. Председатель остаётся, погружён- ный в глубокую задумчивость”.

Не знаю, случайно или нет, но здесь Пушкин для характеристики состояния Председателя прибегает к тому же самому слову, как и для характеристики Мери – “задумчивый”. Председатель после слов Священника остаётся в “глубокой задумчивости”. В той самой задумчивости, из которой у Мери родилась правдивая песня о мире.

Священник возвращает Председателя к правде, он ему открывает глаза, изгоняет беса. Но открывает глаза и изгоняет беса не осуждени- ем, которое вызывает только отпор, а тем, что молится за Председа- теля и просит у него прощения: “Сей род изгоняется молитвой и по- стом”¹⁰. И здесь в Священнике говорит уже не подсознание и даже не сознание, а сверхсознание: сознание, просветлённое Христом.

Священник – это образ человека, из сознания поднявшегося к сверхсознанию, силою Христовой победившего люциферический со- блазн.

Это становится ясным, если обратить внимание, что Священник этого сверхсознания достигает не сразу. Вначале он пытается бороть- ся со злом осуждением и угрозами, то есть орудиями не христовыми, а человеческими и даже дьявольскими. И лишь под самый конец он приходит к тому единственному, что получил от Христа: к любви. Ведь молиться можно только за того, кого любишь, и прощения про- сить только у любимого. Священник просит прощения за то, что он позабыл о том, как сильно в человеке люциферическое прельщение, и для того, чтобы из него человека вырвать, за человека надо молить- ся, а не осуждать его.

Этим Священник возвращает Председателя на его человеческое ме- сто на этой земле. Бес изгнан. Председатель рождается вновь, и Священ- ник совершает второе крещение над его вторым рождением.

Таким образом, в “Пире во время Чумы” дано троичное восприятие мира и его *троичный* аспект:

Мир, каков он есть, в ясном человеческом сознании: Мери.

Мир, искажённый люциферическим прелыщением, мир грехопадения, мир подсознания: Председатель.

И, наконец, мир, каким он является сверхсознанию, способному не только различать добро и зло, но силою Христовой зло претворить в добро: Священник.

Но это только схема...

Комментарии

¹ Так называемый Восьмой Вселенский собор 869 года проходил в Константинополе; по настоянию Рима его главной целью стало осуждение деятельности константинопольского патриарха Фотия (ок. 820–886), ревнителя веры, богослова, “первого идеолога Восточного Православия, точно сформулировавшего отступления Римской Церкви” (Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 1964. С. 539). Постановления, принятые на Соборе, ещё резче противопоставили Рим и Константинополь, Запад и Восток, стали важным этапом на пути к разделению Церквей, случившемуся в 1054 году.

² *Манихейство* – ересь, возникшая в конце III века в Персии, во многом благодаря усилиям Манеса (215 или 216–276 или 277), являла собою причудливую смесь христианства и зороастризма (религии, распространённой в древности в Средней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке); проповедовала дуализм, сосуществование двух равных субстанций-богов: Света и Мрака, отвергала Ветхий Завет и ставила под сомнение некоторые книги Нового и т.д. Различные модификации манихейства (богомилство, альбигойство и др.), несмотря на гонения, просуществовали до конца Средних веков.

³ Имеется в виду зафиксированный в “Повести временных лет” рассказ о призвании на Русь “княжити” трёх варяжских князей – братьев Рюрика, Синеуса и Трувора – во второй половине IX века.

⁴ Под “старшими богатырями” в фольклористике понимают “персонажей русского эпоса, обладающих наиболее архаичными признаками, не связанных с Киевом, с Древнерусским государством” (Ф.М. Селиванов); к ним относят Волха (Вольгу) Всеславьевича, Святогора и Миколу Селяниновича. “Младшие” же общеизвестны – это Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович; былины о них порождены историческими событиями.

⁵ “Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в зем-

лю, не умрёт. то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода” (Ин., 12, 24).

⁶ Быт., 3, 5.

⁷ Ин., 16, 33.

⁸ Мф., 4, 6; Лук. 4, 9.

⁹ Ин., 8, 44.

¹⁰ ”Сей же род изгоняется только молитвою и постом” (Мф., 17, 1).

Предисловие и публикация
М.Д. Филина ©

“МИР ВАШЕМУ ДОМУ!”

Формулы русского речевого этикета с компонентом *мир*

А.Г. БАЛАКАЙ,

кандидат филологических наук

Слова и устойчивые словесные формулы речевого этикета, воспроизводимые в типовых ситуациях общения и служащие для выражения вежливого, доброжелательного отношения к собеседнику, представляют самостоятельную научную, культурно-историческую, а нередко и духовную ценность.

Богатейший и многообразный состав вербальных знаков русской вежливости позволяет увидеть и ее национальную специфику, и наднациональные (“общечеловеческие”) черты. Многие единицы русского речевого этикета непосредственно связаны с христианской этикой, с евангельскими текстами, оказавшими и продолжающими оказывать значительное влияние на языковое сознание.

Несмотря на полную или частичную идиоматизацию значения, устойчивые словесные формулы и в отрыве от первоисточника сохраняют в большей или меньшей степени этимологическое значение как “историческую память”, а вместе с ней и нравственно-культурный потенциал. Это особенно наглядно проявляется в том, как евангельские выражения интегрируются в национальный, прежде всего простонародный этикет, как на их образно-идеологической основе формируются новые, разнообразные по структуре и стилистическому значению собственно русские знаки речевого этикета.

Одной из иллюстраций может служить лексико-фразеологическое гнездо с компонентом *-мир-* (*мир, мирный, мирно, миром*).

Толковые словари русского языка XI–XX вв. различают два многозначных слова – омонима: *МИР*¹ – “вселенная, весь свет; Земля, всё земное; род человеческий, народ, люди; сельская община, крестьянская сходка” и *МИР*² – “согласие, лад, отсутствие ссоры, вражды, войны; единодушие, приязнь, доброжелательность, дружелюбие, полюбовный союз; покой, спокойствие”. До реформы орфографии 1918 г., как известно, эти слова различались и в написании: *МИР*¹ – *миръ*; *МИР*² – *миръ*, что, к сожалению, не отражено в Словаре русского языка XI–XVII вв.

Оба слова встречаются в различных формулах речевого этикета, од-

нако *МИР*² (и производные от него), как этически маркированный компонент, значительно более продуктивен в образовании широко распространенных и общеизвестных формул возвышенно-учтивых приветствий: *Мир вашему (этому) дому! Мир дому сему!* (приветствия гостя, входящего в дом); *Мир вам (тебе)!* (при встрече вообще, а также в письмах). Формулы эти вошли в русский, и не только русский, этикет из Евангелия. Иисус Христос напутствовал своих учеников: “В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. И если дом будет достоин; то мир ваш придет на него: если же не будет достоин; то мир ваш к вам возвратится” (Мф. X, 11–13). “В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш: а если нет, то к вам возвратится” (Лк. X, 5–6). Сам Спаситель приветствовал учеников словами: “Мир вам” (Лк. XXIV, 36; Иоан. XX, 19, 21). Как в приведённых, так и в некоторых других евангельских текстах слово *мир* синонимично не только словам *согласие, спокойствие*, но и слову *спасение*. В доме начальника мытарей Закхея Иисус говорит в ответ на раскаяние хозяина: “ныне пришло спасение дому сему” (Лк. XIX, 9). При входе в Иерусалим Господь, “смотря на него, заплакал о нем, И сказал: о если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но сие сокрыто ныне от глаз твоих” (Лк. XIX, 41–44).

В русском простонародном обхождении эти формулы употребляют, как правило, людьми среднего и старшего возраста как стилистически возвышенные, учтивые или учтиво-набожные приветствия: “Вдруг тихо-тихохонько растворилась дверь, и в горницу смиренно, степенно вошла маленькая, не очень ещё старая женщина в чёрном сарафане, с чёрным платком в распуск. По одеже знать, что Христова невеста. Положив уставной поклон перед иконами, низко-пренизко поклонилась она Дарье Сергеевне и так промолвила: – Мир дому сему и живущим в нём! С преддверием честной масленицы поздравляю, сударыня Дарья Сергеевна” (П. Мельников (Печерский). На горах); «Увидал их Фомка и спрашивает: “Вы кто таковы?” – “Мир тебе, добрый человек! Мы сильномогучие богатыри”» (Фома Беренников. Сказка из собр. А.Н. Афанасьева); “Мир тебе, друг мой! Прости, что не писал тебе эти годы, и то, что пишу так мало и сейчас” (С. Есенин. Письмо Н.А. Клюеву, дек. 1921), “– Мир вам, люди добрые, чинно поклонилась Натаха и выложила свою снедь на общую скатерть” (Е. Носов. Усвятские шлемоносцы).

Не без влияния евангельского контекста возник и собственно русский ответ на приветствие *Мир дому сему!* – *С миром принимаем!*

В обиходно-бытовых ситуациях по едва ли не универсальному закону стилистики возвышенные формулы могут употребляться и шутиливо: “П е р ч и х и н (является в дверях, за ним молча входит Поля): Мир

сему дому, хозяину седому, хозяйке-красотке, чадам их любезным – во веки веков! Б е с с е м е н о в: У тебя опять разрешение вина? П е р ч и х и н: Сгоря!” (М. Горький. Мещане); «Гости ввалились в дом в шубах, в дохах. Кузьмин забасил: “Мир дому сему!” – “Милости просим”, – в один голос ответили Агафья и дед Фишка» (Г. Марков. Строговы). И дело тут не в пустом скоморошестве. Шутка в речевом этикете, если она уместна, играет очень существенную контактоустанавливающую роль. Она служит знаком хорошего настроения, расположения к собеседнику, готовности к дружескому, миролюбивому общению. К тому же поддерживать общение на изначально взятой высокой тональности весьма сложно и для адресанта, и для адресата. Всегда есть опасность показаться чопорным, высокомерным. Преподобный старец Амвросий Оптинский полушутя-полусерьезно наставлял одну монахиню: “Смотри, Мелитона, держись среднего тона; возьмешь высоко, будет нелегко, возьмешь низко, будет склизко; а ты, Мелитона, держись среднего тона”.

Разумная потребность держаться в обиходном общении “среднего тона” привела к образованию в говорах и просторечии стилистически нейтральных и разговорных, дружески-шутливых формул приветствий:

Мир вам, и я к вам! Дружелюбно-шутливое приветствие входящего в дом хозяевам. “П ё т р: Вот я к веселью-то как раз. Мир вам, и я к вам. Г р у ш а: Милости просим! А мы только хотели кошку в лапти обувать да за вами посылать” (А. Островский. Не так живи, как хочется); “Домна Платоновна вошла, помолилась Богу, у самых дверей поклонилась на все четыре стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого не было), положила на стол свой саквояж и сказала: – Ну, вот, мир вам, и я к вам!” (Н. Лесков. Воньельница); “Л а п ш и н: Мир вам, и мы к вам. К л а в д и я В а с и л ь е в н а: Пожалуйста, Иван Никитич” (В. Розов. В поисках радости).

Мир честной компании! Мир беседе! Мир на беседу (на беседе)! И производные от них: *Мирной беседе! Мирно беседей! Мир беседе да добрым соседям!* Формулы дружеского приветствия подошедшего к компании (“беседе”), а также входящего в дом – хозяевам и собравшимся гостям: «Подошёл Василий Борисыч, снял шапку, низенько поклонился и молвил: “Мир честной беседе”, – “Просим милости на беседу”, – приветно ответили ему и раздвинулись, давая место пришедшему собеседнику» (П. Мельников (Печерский). В лесах); “А н н а И в а н о в н а: Мир честной компании! Р а з л ю л я е в: Милости прошу к нашему шалашу. М и т я: Наше почтение-с! Милости просим!.. Какими судьбами?.. А н н а И в а н о в н а: А никакими, просто – взяли да и пришли” (А. Островский. Бедность не порок).

Мир дорогой! Мир по дороге! Мир доро́га! Формулы приветствия встречному путнику: «“Мир-дорога!” – приветливо крикнул ему Чапу-

рин. “Здравствуйте, сударь Потап Максимыч”, – ответил Сушило, снимая побуревшую от времени и запылённую в дороге широкополую шляпу» (П. Мельников (Печерский). В лесах); «Горшеня едет-дремлет с горшками. Догнал его государь Иван Васильевич. “Мир по дороге!” Горшеня оглянулся. “Благодарим, просим со смиреньем”» (Горшеня. Сказка из собр. А.Н. Афанасьева); «”Мир дорогой, добрый человек, – поздоровался Арефа, рысцой подъезжая к вершнику. – Куда Бог несёт?” – “По одной дороге едем, так увидишь”» (Д. Мамин-Сибиряк. Охотины брови).

Широко употребителен компонент *мир* в формулах добрых пожеланий. *Мир да любовь! Мир да совет!* – желают новобрачным. С честным пирком, да жить вам мирком! – желают подошедшие гости хозяевам и всему застолью. (*Желаю вам, Дай Бог вам*) *Мира и спокойствия (благоденствия)! Мира и благ вам! Мирного неба над головой! Мирного неба, душистого хлеба, родниковой воды и никакой беды!* Эти и подобные пожелания употребляются часто по случаю поздравления с праздниками, именинами, нередко как краткие тосты.

В адрес умершего говорят: *Мир ему (ей. им)! Мир праху твоему (его. её. их)!* Эти возвышенные формулы в устах верующих звучат как молитва (нередко с прибавлением “Дай Бог”), а в обиходе – как знак уважительного отношения к умершему при упоминании его имени в разговоре. В просторечии отмечены усложнённые формулы: (*Дай Бог*) *Мир да покой, да вечное поминанье! Мир да покой, да лёгкое лежанье! Мир праху, костям упокой!* “Ф а м у с о в: Скончался; все о нём прискорбно поминают. Кузьма Петрович! Мир ему! – Что за тузы в Москве живут и умирают!” (А. Грибоедов. Горе от ума); – Смертью всё смирилось, – продолжал Пантелей. – Мир да покой и вечное поминанье!.. Смерть всё мирит...” (П. Мельников (Печерский). В лесах); «Простясь с родными, мы пошли на новую часть кладбища... “Тут Фёдор Иванович, помнишь ли? – спросила тётя Поля. – Конюх в лесхозе был, Городецких”. – “Как не помнить? Мир праху, Фёдор Иванович”» (В. Крупин. Боковой ветер).

Выделяется группа напутственных пожеланий при прощании, в которых слово *мир* семантически сближается со словом *Бог*: *С миром (ступайте, поезжайте, идите)! С миром оставайтесь!* То же, что *С Богом! Да будет мир с тобою*, возвышенное, то же, что *Да будет Бог с тобою! Да будет (пребудет) над вами Божье благословение!*

Семантическую близость слов *МИР*² и *БОГ* (спасение, Божья благодать) можно подтвердить и другими примерами, в частности, пословицами и поговорками: *Где мир да лад, там Божья благодать. Почить в мире*, то же, что *почить в Боге*, т.е. в Боге, по-христиански, примирившись со всеми. Однако прежде всего подтверждения семантической близости слов *МИР*² и *БОГ* находим в самом Евангелии, посланиях апостолов, в учении отцов Церкви. Апостолы в посланиях писали:

“Благодать вамъ и мир да умножится” (I Пт. 1, 2); “Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа” (I Коринф. 1, 3); “К миру призвал Господь” (Римл. XII, 18); “Бог не есть *Бог* неустройства, но мира” (I Коринф. XIV, 33). Более тысячи лет на каждой литургии произносится ектения, дословно известная каждому прихожанину, – молитвословие, включающее прошения у Господа о “мире всего мира”, о даровании провести остаток жизни “в мире и покаянии”, о “Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судище Христове” и др.

Известные слова Спасителя: “Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч” (Мф. X, 34–36) – это предсказание о том, что не все встанут на путь спасения, что предстоят земные распри, гонения и казни за веру во Христа и проповедь Евангелия. То же в сущности предрек и старец Семеон, принявший на руки Божественного Младенца: “се, лежит сей на падение и на возстание многих в Израиле) и в предмет пререканий...” (Лк. II, 34–35). Предназначение же Того, кто сказал: “Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими” (Мф. V, 9), – “отдать душу свою для искупления многих” (Мк. X, 45), чтобы примирить людей с правосудием Божиим: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так как мир дает, Я даю вам: да не смущается сердце ваше, и да не устрашается” (Иоан. XIV, 27). Потому и назван апостолом: “Бог мира” (Римл. XVI, 20).

Семантическая, в том числе и морально-этическая, близость слов *МИР*² и *БОГ* может служить аргументом при рассмотрении одной, казалось бы, чисто лингвистической проблемы, а именно вопроса о том, что этимологически *МИР*¹ восходит к *МИР*². «Значения “весь свет”, “общество” элементарно производны от “согласие, полюбовный союз, дружба”. Переходное красноречиво представлено семантикой русского *мир* – (“сельская) община”, на народность которого специально указывал Р. Брандт, который критикует Миклошича за готовность признать значение “мир, welt” почти исключительно за церк.-слав., не видя его истоков» (Этимол. словарь славянск. языков. Вып. 19. С. 56).

Слово *МИР*¹ (*миръ*) представлено в русском речевом этикете в уставших формулах крестьянского обращения к односельчанам, шире – к окружающим вообще: *Мир православный!* *Мир крещёный!* а также: *Мирыне!* (Ср. крестьяне < христиане < Христос); в поговорке *Тесен мир!*, произносимой при неожиданной встрече со знакомым в месте, далёком от места обычных встреч; в пословице *Мир не без добрых людей*, употребляемой в речевом этикете в двух значениях: 1) как форма утешения, ободрения собеседника или собеседников; 2) как комплимент при выражении благодарности собеседнику за помощь, услугу.

Думаю, что слово *МИР* распалось на омонимы *МИРЪ* и *МІРЪ* также не без влияния христианского мировоззрения. Слово *МИРЪ* в одном из своих значений (“земная жизнь в противоположность неземной,

т.е. жизни в Боге”; ср.: *от мира сего* – не *от мира сего*; *жить в монастыре* – *жить в миру*) противопоставлено, т.е. антонимично слову *МИРЪ*. Антонимы же, как известно, служат наименованиями крайних, полярных проявлений одной сущности. Ср. производные: *Миролюбие* – “стремление к миру, согласие” и архаизм *Миролюбие* – “пристрастие к мирскому”: “И вся злодеяния и умышления козней сатаниных створих... любовластиа, тщеславиа, любоявленства, миролюбиа, лжи” (Нил Сорский. Молитва); “Вам же яко слабости ради ваша и невоздержания, сластолюбия же и златолюбия, и миролюбия словеса спасеная трудна вам бывают” (Иван Грозный. Послания). *Миробецъ* – “тот, кто любит мир, согласие, людей”: “Христолюбца и миролюбца” (Житие мт. Филиппа. XVI в.). *Миролюбецъ* – “тот, кто пристрастен к мирскому, к земным делам и наслаждениям”. “А чтобы ты мог удобнее сие исполнить, должен отдалить все препятствия, от хранения слова Божия тебя удерживающия. Препятствия же сии суть четыре: 1) сообщество нечестивых миролюбцов” (Приточник Евангельский. Соч. архим. Силвестра. Изд. 2-е, М., 1822. С. 34).

По-видимому, можно говорить о том, что распаду слова *МИР* на омонимы предшествовала энантиосемия, то есть антонимия значений многозначного слова.

Соответственно, возникает вопрос лексикографического плана: если *МИР*¹ этимологически производно от *МИР*², то не следует ли помещать словарные статьи местами: *МИР*¹ (согласие, лад, отсутствие ссоры, вражды, войны; единодушие, приязнь, доброжелательность, дружелюбие, полюбовный союз; покой, спокойствие); *МИР*² (вселенная, весь свет; Земля, всё земное; род человеческий, народ, люди; сельская община, крестьянская сходка)?

Новокузнецк



Мир: *миръ* и *міръ*

А.Ф. ЖУРАВЛЕВ,
доктор филологических наук

В связи с темой, затронутой в статье “Мир вашему дому! Формулы русского речевого этикета с компонентом *мир*”, возникает необходимость коснуться нескольких существенных моментов.

Говоря об истоках этикетных формул с лексическим компонентом *мир* в разных значениях этого слова, А.Г. Балакай во многих местах ссылается на евангельские тексты (являющиеся, как известно, переводами с греческого языка). При этом, однако, не оговаривается, что разные значения слова *мир* передают содержание р а з н ы х греческих слов. Русское *мир*, древнерусское и старославянское *миръ*, могут соответствовать греческим словам *eirēnē* “мир, мирное время, спокойствие”, *katallagē* “примирение, договор, уложение”, *katástasis* “состояние, положение, устройство”, *kósmos* “украшение”, “порядок, устройство, строение”, “мир, вселенная”, “мирское, земное, земные блага”, *oikouménē* “населенная земля”, “вселенная, свет”...

Русское слово содержательно богаче каждого из этих греческих ответов. Его значения могут быть представлены в виде трех основных семантических блоков – “покой, согласие”, “вселенная, свет”, “община; люди, общество”, – каждый из которых формируется более узкими смыслами. Такая семантическая структура праславянского по происхождению слова **mīgъ* известна только русскому языку; в двух славянских языках представлены лишь “части” этой триады, но могут быть реализованы и другие частные значения (например, “договор, обет, присяга” в польском или “плата за невесту (свадебный обычай)” в диалектах сербско-хорватского).

Представленность в некоторых славянских языках у продолжений слова **mīgъ* с о ц и а л ь н ы х значений – (“крестьянская и проч.) община”, “общественный порядок”, “договор, клятва” и т.д. – обнаруживает связь славянских представлений о мире с концептом мира, который явлен в ментальности индо-иранского языкового и культурного круга. Славянское **mīgъ* находится в этимологическом родстве с древ-

неиранским *mīθra*, смысловой центр которого формулируется как “договор, примирение, согласие”. (*Mitra* – это и индо-иранский солнечный бог, воплощающий в себе также идею человеческого согласия, взаимности, договора. Культ Митры в античной древности широко распространился за границы индо-иранской культурной области; наиболее ярко за этими пределами он сказался в митраизме Древнего Рима, следы его влияния, по-видимому, существуют и в культуре древних славян.) Славянское **mīgъ* – суффиксальное производное от индоевропейского корня **mei-* “связывать”, а его семантическая эволюция в наиболее общем виде может быть выражена как цепь значений “договор, согласие, примирение” → “община” → “весь свет”. Концепт “мир как договор” отсутствует в греческом “исполнении”, поэтому мысль автора комментируемой здесь статьи – “...слово *мир* распалось на омонимы *миръ* и *миръ*... не без влияния христианского мировоззрения” – не кажется столь уж обязательной.

Что же касается словарного расположения значений слова *мир* “покой, согласие, отсутствие вражды” и “вселенная, свет; община” (или омонимов *мир*¹ и *мир*²), которое предлагается в статье, то оно, во-первых, действительно, оправдывается семантической историей слова, а во-вторых, в сущности, и имело место в старых, дооктябрьских словарях русского языка: буква “и” (“и восьмеричное”) в алфавитном порядке предшествует букве “і” (“и десятиричное”), и, таким образом, словарная статья *миръ* “покой” находилась впереди по отношению к статье *миръ* “вселенная; община”.

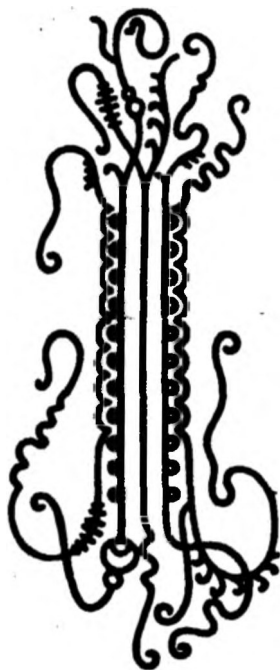
Можно полагать, что Лев Толстой, выбирая название для своего романа, осознавал возможность его двоякого осмысления (по крайней мере, при устном произнесении). Однако он избрал написание *миръ*, в отличие, например, от Маяковского, озаглавившего свою поэму *Война и миръ*, явно отталкиваясь от “толстовского” варианта, как бы полемизируя с Толстым. При всей актуализованности в названии романа другого, параллельного плана (“война и люди”, “война и общество”) написание *миръ*, как бы это ни показалось сомнительным, сужает замысел писателя. Вариант с “і” выдвигает лишь тему “общество в его отношении к войне”, “люди в войне, во время войны”, оставляя в стороне проблему “люди не на войне, вне войны”. В варианте же *Война и миръ* (прямо: “война и не-война”) не о б х о д и м ы й смысловой момент “люди в их отношении к...” в действительности и не о б о й д е н, поскольку не м о г быть обойден: художественная литература всегда имеет своим предметом ч е л о в е с к а (даже когда автор пишет “только” о природе), поэтому данный смысл в “толстовском” варианте названия несомненно присутствует, не будучи специально выражен словом.

В статье “Мир вашему дому!...” высказываются сожаления о том, что “Словарь русского языка XI–XVII вв.” не отражает упомянутых ор-

фографических различий. Сожалеть об этом не приходится, поскольку дифференциация орфограмм *миръ* – *міръ* имеет поздний характер. Появившись после так называемого “второго южнославянского влияния” (XVв.), сначала в единичных памятниках Юго-Западной Руси, затем, с XVII века, как т е н д е н ц и я, но еще вовсе не правило, в некоторых памятниках Московской Руси, орфографическое разграничение этих омонимов кодифицируется лишь впоследствии, то есть уже за хронологическими пределами указанного словаря. Древнерусское *миръ* “все-ленная, свет” орфографически так и предстает читателю *миромъ*.

* * *

Всем, кто хочет ощутить и понять семантические глубины славянского *mirъ*, мы настоятельно рекомендуем обратиться к замечательной своим философизмом работе академика Владимира Николаевича Топорова “Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *mir-*)”, опубликованной в сборнике “История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации” (Москва, “Наука”, 1993). Это, согласимся, нелегкое чтение, однако не убоявшийся трудностей будет вознагражден откроящимся ему пониманием тонких и совсем не очевидных взаимозависимостей между эволюцией этнической Культуры и развитием Языка.



“БОЛЕЕ ЛУЧШЕ, БОЛЕЕ ВЕСЕЛЕЕ”

*О грамматическом статусе
аналитических форм
сравнительной степени*

Ю.Л. ВОРОТНИКОВ,
кандидат филологических наук

В русском языке, как известно, есть два способа образования сравнительной степени: с помощью суффиксов *-ее*, *-ей*- (*холоднее*, *веселей*) и путем прибавления к форме положительной степени слова *более* (*более холодный*, *более веселый*). В отношении синтетической простой формы сравнительной степени типа *веселее* у языковедов споров не возникает – она признается морфологической (если, конечно, вообще категория степеней сравнения причисляется к морфологическим категориям). По поводу же образований типа *более холодный* в специальной литературе существуют две противоположные точки зрения. В.В. Виноградов, например, писал: «Итак, в сочетании: *более* + каче-

ственное прилагательное следует видеть одну составную форму. Неосновательно традиционное мнение об этой аналитической форме, будто она “выходит за обычные рамки морфологических образований, представляя синтаксическое сочетание двух неоднородных слов”» (Виноградов В.В. Русский язык. М., 1972. С. 202).

Иначе решается этот вопрос в академической “Русской грамматике”. Здесь читаем: “К формам сравн. степени не относится описательное выражение сравнения с помощью форм *более* или *менее*: *более веселый*, *более интересный*, *менее веселый*, *менее интересный*. Слова *более* или *менее* в этих сочетаниях сохраняют свое лексическое значение, и это препятствует их превращению в показатели морфологического значения и, следовательно, превращению сочетаний типа *более грустный*, *менее веселый* в аналитические формы сравн. степени” (Русская грамматика. Т. I. М., 1980. С. 562).

Вопрос о грамматическом статусе аналитической (сложной) сравнительной степени до сих пор остается открытым: что же это все-таки, морфологическая форма или синтаксическая конструкция? Попытаемся сформулировать свое мнение на этот счет, для чего прежде всего обратимся к так называемому “отрицательному языковому материалу”, об уникальном значении которого для успешного лингвистического анализа говорит Ю.Д. Апресян, ссылаясь при этом на таких лингвистов, как Ш. Балли, А.М. Пешковский, А. Фрей, Л.В. Щерба (Апресян Ю.Д. Избранные труды. М., 1995. Т. I. С. 105). Об этом же, как всегда образно, пишет и Н.Д. Арутюнова: “Известно, сколь неоценимую услугу оказывают языковедам отрицательные факты... Лингвистические работы последних десятилетий пестрят звездочками. Примеры семантических и прагматических аномалий, иногда очень изощренные, теснят корректные примеры” (Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988. С. 303).

Неправильное употребление аналитических форм сравнительной степени достаточно широко распространено, и что любопытно отметить, выражения типа *более лучшие* не так уж редко приходилось автору слышать даже в стенах академического Института русского языка из уст весьма и весьма почтенных языковедов-русистов. Но в этом случае речь идет не о неграмотности или об ошибках, а о своего рода игре с языком. Это, конечно, не та игра в культурологическом смысле, о которой писал Й. Хёйзенга (Й. Хёйзенга. Homo Ludens. М., 1992. С. 8), и не та “языковая игра”, о которой говорил Л. Витгенштейн (Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 83). Но в то же время это и не просто ёрничество, стёб в том смысле, как об этом пишет Е.А. Земская (Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996. С. 23). Перед нами – типичный пример лингвистического эксперимента, ставшего в последние годы одним из важнейших инструментов науки о языке. Н.Д. Арутюнова по этому поводу пишет: “Экспериментами

над языком занимаются все: поэты, писатели, остряки и лингвисты" (Н.Д. Арутюнова. Указ. соч. С. 303). Эксперимент лингвиста имеет глубоко научную цель: лингвист как бы "пробует на зуб" те или иные языковые факты, "выворачивает их наизнанку" для того, чтобы понять их суть. Это – разновидность лингвистической интроспекции в понимании А. Вежбицкой (А. Wierzbicka. *Semantics, culture and cognition*. М.У.; Oxford. 1992).

Но и самые тривиальные ошибки, так сказать, ошибки "без задней мысли" в употреблении аналитической формы сравнительной степени не редкость. В связи с этим вспоминается такой кадр из фильма С.А. Герасимова "Журналист": редактор провинциальной газеты листает рукопись местного автора, при этом с тоской повторяя: "Более лучше, более веселее...". Вот несколько примеров подобного рода: (1) "По-моему, кооперативные банки работают *более гибче*" (Из телепередачи. Речь интервьюируемого директора банка); (2) "Пора уже отвыкать от консерватизма и одеваться *более помоднее*" (Устная речь продавца); (3) "Но Ладога расположена куда *более южнее*" (Из телепередачи. Речь ведущего); (4) "Не пора ли еще энергичней, куда *более энергичней* преодолевать наш страх?" (Из радиопередачи. Речь ведущего); (5) "Нужно как можно *более глубже* провести интеграцию города и села" (Речь радиодиктора).

Как видим, все эти высказывания принадлежат или представителям класса так называемых "новых русских", или работникам электронных средств массовой информации. О языковой культуре первых ходят анекдоты, да и вторая категория, увы, изысканностью слога нас в последние годы не балует. Однако встречается нечто подобное и в речи людей вполне интеллигентных и высокообразованных, например: (6) "Они делают песню более емкой, более глубокой, *более...* ну как бы вам сказать... *содержательнее*" (Из радиопередачи. Речь композитора М. Фрадкина). Марк Фрадкин, как мы видим, правильно употребил форму аналитической сравнительной степени два раза, но на третий, увы, сбился.

Проникают ошибки, подобные вышеописанным, и на страницы печатных изданий, причем весьма солидных, например: (7) «Но открытия, которые сделал для себя Василий, куда *более значительнее* выводов Глеба Вольнова из "Завтрашних забот", решившего делать дело и ни о чем не думать» (А. Урбан. Из предисловия к книге В. Конецкого "Завтрашние заботы").

Говоря о типах языковых неправильностей или языковых аномалий, Ю.Д. Апресян различает неправильность относительную и абсолютную. Абсолютная неправильность характеризуется, в частности, тем, что "языковые единицы неправильно скомбинированы (хотя каждая из них в отдельности и может иметь нужный смысл)" (Ю.Д. Апресян. Указ. соч. Т. II. С. 601). Очевидно, что "более лучше", так же, как и "он

пришла”, “мы говорю”, “будет читает” – это случаи именно абсолютной языковой аномалии, однако если ошибки последних трех типов в речи всех категорий говорящих на русском языке как на родном практически исключены, то ошибки первого типа весьма частотны. В чем тут дело?

Для каждого из приведенных выше примеров есть своя отдельная и одна общая причина неправильного употребления сложной формы сравнительной степени. Начнем с примера (7), в котором встречается ошибочное с точки зрения литературной нормы словосочетание *куда более значительнее*. Но если выражение *более значительнее* явно “режет слух”, то о словосочетании со словом *куда* можно, пожалуй, говорить как об относительно более приемлемом (или, точнее, относительно менее неприемлемом). Дело в том, что усилительная частица *куда* требует употребления после себя простой формы сравнительной степени (*куда лучшие*), а форма *более* – положительной. Их же совместное употребление создает своеобразную “синтаксическую конкуренцию” и, следовательно, некоторую свободу выбора формы прилагательного. Возможно также, что слово *более* как бы попадает в поле притяжения частицы *куда*, “притягивается” к нему и отрывается от прилагательного. В результате образуется цельная единица *куда более*, близкая по значению к усилительной частице *куда как*, после которой употребление формы простой степени сравнения вполне нормально. Можно думать, что именно эти причины, действовавшие, конечно, на бессознательном уровне, и позволили автору допустить такую форму выражения, а корректору не воспринять ее как неправильную.

Есть своя причина и для примера (6) из устной речи композитора Марка Фрадкина: в третьем употреблении форма аналитической сравнительной степени оказалась разорванной поиском наиболее подходящего прилагательного для точного выражения мысли. И пока этот поиск шел, синтаксическое влияние слова *более* успело “погаснуть”, перестать действовать. Однако выскажем предположение, что в случае выбора рода прилагательного М. Фрадкин и в такой ситуации вряд ли допустил бы ошибку и сказал: “Он... как бы точнее выразиться... не просто умна, а гениальна”.

О примерах (5) и (3) можно сказать то же, что и о примере (7): в высказываниях возникают эфемерные новообразования *как можно более* и *куда более*. В примере (4) та же ситуация, усугубленная предшествующим употреблением словосочетания *еще энергичнее*. Возникает градационный ряд *еще энергичнее, куда более энергичнее*, в котором новообразованная форма *куда более* воспринимается как экспрессивный синоним интенсифицирующего наречия *еще*.

Иная причина для примера (2). Сочетание *более помоднее* возникло в результате столкновения семантики с прагматикой. Говорящий стремился выразиться “повежливее”, поэтому и использовал “смягчитель-

ную” форму сравнительной степени. В данном случае приставка *по-* функционально аналогична частице *-с* в ее “лакейски-вежливом” употреблении: “Чего изволите-с?”.

И, наконец, в примере (1) говорящий мог просто воспринимать слово *более* как синоним наречий высокой степени типа *гораздо*. Как подтверждение такого восприятия формы *более* еще в 50-х годах нашего века можно рассматривать и тот зафиксированный И.К. Калининой факт, что при аналитической форме сравнительной степени тогда невозможным было употребление наречий типа *чуть-чуть* или *несколько* (Калинина И.К. Степени сравнения имен прилагательных, их употребление в современном русском языке и связанные с ними лексико-фразеологические обороты. Автореферат канд. дис. М., 1952. С. 11). Впрочем, в наше время запрет на такого рода сочетания по меньшей мере поколеблен.

Понятно, что все подобные объяснения появления в речи ошибок типа *более лучше* сами становятся возможными по одной, общей для всех этих случаев причине: в сознании носителей русского языка недостаточно закреплена “слитность” конструкции *более + позитив*. Она еще явно не “дотягивает” до морфологического уровня.

Однако есть факты, которые свидетельствуют все же о некоторой если не “слитности”, то, по меньшей мере, целостности конструкции *более + позитив*. Известно, что формы синтетической сравнительной степени не от всех прилагательных обладают свойством, которое лингвисты называют “презумпцией существования качества”. Чтобы пояснить это выражение, процитируем следующее высказывание Т.М. Николаевой: “... по фразам *Элен красивее Мэри, Том лучше Боба, Джек умнее Билла* мы не можем сказать определенно, что Мэри красива, Боб хорош, а Билл умен” (Николаева Т.М. Качественные прилагательные и отражение “картины мира” // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. Л., 1983. С. 238–239). То же относится к большому количеству других синтетических компаративов, в первую очередь от так называемых параметрических прилагательных: *выше–ниже; шире–уже* и т.п. (см.: Ю.Д. Апресян. Указ. соч. Т. I. С. 65–67).

Для аналитической формы круг подобного рода ситуаций уже. Высказывание *Он более умный, чем ты* мы поймем так, что и он, и ты умные. Но выражение *А более высокий, чем В*, так же, как *А выше В*, можно отнести и к двум высоким, и к двум низким предметам. Однако ситуация изменяется, если мы поменяем местами составные части конструкции *более + позитив*. Выражение *Он высок более, чем ты* мы можем понять только однозначно, то есть в том смысле, что и он, и ты высокие. Конструкция *позитив + более* во всех случаях характеризуется “презумпцией существования качества”. Невозможность свободного перемещения отдельных элементов в конструкции *более + позитив* без некоторой деформации значения свидетельствует о том, что в роли

сказуемого эта конструкция выступает как цельное образование, однако степень этой цельности, как мы убедились раньше, еще достаточно далека от цельности морфологических форм.

Таким образом, можно сделать вывод, что в языковом сознании действуют две разнонаправленные тенденции: одна стремится расчленить аналитическую форму сравнительной степени, другая же, наоборот, слить ее в нерасторжимое целое с единым значением. О том, как отражены обе эти тенденции в грамматических исследованиях, уже говорилось.

Как известно, для В.В. Виноградова возникновение описательной, аналитической формы сравнительной степени было одним из доказательств общей тенденции развития русского языка – его устремленности к аналитическому строю. Аналитические формы, значение которых “во второй половине XIX в. усилилось”, выступают в дальнейшем как форпост аналитизма, его морфологический плацдарм: они “подготавливают возможность аналитического употребления степеней сравнения от имен существительных с качественным значением и от обстоятельственных наречий” (В.В. Виноградов. Указ. соч. С. 200, 204). Однако, по крайней мере, на данном участке “грамматического фронта” аналитизм еще далеко не наступил.

Язык прессы

“Испорченное красноречие”: вчера, сегодня и... всегда?

*Н. И. КЛУШИНА,
кандидат филологических наук*

“Испорченное красноречие” – термин Феофана Прокоповича. Будучи профессором Киево-Могилянской академии, Прокопович прочитал студентам курс по риторике в 1706 году. Запись этого курса легла в основу трактата “О риторическом искусстве (10 книг для обучения украинской молодежи, которая изучает одно и другое красноречие на благо религии и Отчизны, изложенные преподобным отцом Феофаном Прокоповичем в Киеве в славной православной Могилянской академии в 1706 году)”.

Прокопович резко противопоставляет два вида красноречия: истинное и фальшивое. Он пишет, что некоторые люди, “обманутые кажущейся основательностью, увлекаются недостатками, будто какими-то достоинствами”. И, указывая на пороки, присущие тогдашней речевой практике, на первое место выводит “высокопарный и напыщенный вид красноречия”: “Он берет свое название от опухшего большого тела. И как тело опухает от того, что в нем собирается какая-то вредная жидкость в одном месте, так и этот порок языка образуется от лишних речей и слов: а такое бывает в словах, предложениях или в тех и других одновременно”.

Эта давняя проблема ложного пафоса – пустословие, прячущееся под маской многословия, – и поныне актуальна. Сегодня ее квалифицируют как проблему “престижного языка” (П. Лоуренс), “языковой моды, вкуса” (В.Г. Костомаров).

Феофан Прокопович относит именно к фальшивому, испорченному, а не истинному красноречию те случаи, “когда нагромождаются слова либо устаревшие, вышедшие из употребления, либо новые, иностран-

ные, вызывающие у необразованных восторг своим необычным звучанием”. И подчеркивает, что “подобным образом употребляются ученые, хоть и непонятные слова, которые часто повторяются. Поставленные не на своем месте, они не служат ни для чего другого, разве только для нагромождения, для какого-то блеска”.

Интересно, что указанные Прокоповичем еще в начале XVIII века два отвратительных порока красноречия (чрезмерное увлечение не освоенными широким кругом носителей языка заимствованиями и устаревшими, забытыми, а потому также непонятными словами) современными исследователями также признаются основными в нынешней языковой ситуации.

В науке выработались определенные принципы отношения к заимствованному слову (уместность и неуместность его употребления). Не отвергая интернационализмов, ученые последовательно борются с засорением языка неправомерными заимствованиями.

Чрезмерное увлечение чужеземными словами сегодня особенно характерно для языка средств массовой информации. Хотя в последнее время и вышли словари иностранных слов, фиксирующие новейшие заимствования (Язык биржи. Краткий толковый словарь рынка ценных бумаг. М., 1992 г.; Современный словарь иностранных слов. М., 1993 г.; Н.Г. Комлев. Словарь новых иностранных слов. М., МГУ, 1995 г. и др.), тем не менее массовый читатель не станет поминутно заглядывать в них, чтобы понять журналистский текст. А этот текст все больше похож на некие шифрограммы: “Алексей Дервенин, написавший *кавер-стори* с Жанной Агузаровой, ныне занимается журналистикой факультативно, т.к. всерьез увлекся *креативными* разработками в области текстовой рекламы” (ж-л “ОМ”. 1997. № 1); “Насколько туманной выглядит ее *privacy*, настолько прозрачной и ясной предстает она в своих песнях” (там же); “Вот это чувство огромного мегаполиса, все его электричество, весь энергетический потенциал, *интерактивность* всего этого и есть для меня индастр” (ОМ. 1996. № 12). А ведь все используемые здесь иностранные слова можно без ущерба для их смысла перевести на русский: *кавер-стори* – рассказ, *креативный* – творческий, *privacy* – тайна, *интерактивность* – взаимодействие. И если во времена Петра I, как описывал В.В. Виноградов в “Очерках по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.” (М., 1982), переводчики кончали жизнь самоубийством из-за неумения перевести на родной язык какое-нибудь уж очень мудреное чужеземное слово, то сегодня такой проблемы нет: русский язык обладает богатейшей смысловой гаммой для выражения значений любого заимствования.

И хотя, как отмечает один из авторов журнала “ОМ” Ю. Василькина, чрезмерное использование англицизмов в этом молодежном издании не что иное, как извечное стремление нового поколения к созданию своей экстернальной (чужой) культуры и стремление доказать,

что новая культура лучше общепризнанной, тем не менее злоупотребление заимствованиями – проблема давняя и не только “молодежная”.

На засорение языка газеты малопонятными массовому читателю словами указывал еще Л.В. Щерба в дискуссии о культуре речи в 20-х гг.: “Не так ярко, но все же вполне заметно революция отразилась на общем уровне печати и в другом смысле: язык стал вообще крайне небрежен, неряшлив и стал пестрить иностранными словами и оборотами больше, чем это было раньше...” (Русская речь. 1991, № 3. С. 49). Причину этого он видел в том обстоятельстве, “что в ряды пишущих вступило значительное количество эмигрантов и даже просто иностранцев, которые привыкли к иностранной литературе, к иностранному языковому мышлению, а из русского языка знают обыденный разговорный язык и жаргон газет, листовок, прокламаций, агитационных брошюр и т.п. Думая образами и оборотами иностранной литературы, они не стараются да, пожалуй, и не могут перевоплотить все это в русскую форму, а пересаживают свой материал на русскую почву в совершенно сыром, необработанном виде, придавая ему лишь русскую внешность” (там же. С. 49).

Сегодня, по-видимому, причина роста заимствований лежит не в национальном или социальном статусе адресанта, а в его “культурном весе”, в желании увеличить этот вес, произвести впечатление любым путем: завышением экспрессивности высказывания, т.к. “новизна сама по себе является мощным стимулом для завышенной экспрессии” (Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. М., 1993. С. 52), либо стремлением говорить престижно и умно: «... иноязычные заимствования, как правило, носят письменный характер, отличаются мудреной непонятностью и соответствуют другой упомянутой черте сегодняшнего языкового вкуса – стремлению к “wokнижению”, изощренности речи» (В.Г. Костомаров. Языковой вкус эпохи. М., 1994. С. 81).

Именно поэтому товары теперь не заказывают, а *бронируют*: “Бронирование продукции по предварительным заказам” (Товары и цены. 1996. 10 дек.). Списки депутатов не изменяются, а подвергаются *мутации*: “Мутация списков кандидатов на банкротство в очередной раз показала, насколько успешно работает промышленное лобби” (Моск. комс. 1996. 5 нояб.). Из-за ложного пафоса современных журналистов Автоваз теперь – “*Эксклюзивный лидер среди должников*” (ОРТ. “Время”. 1996. 26 нояб.), а молодежь строит “*бизнес-планы на собственное будущее*” (Моск. комс. 1996. 10 дек.).

Не чем иным, как только испорченным красноречием можно назвать и неуместное употребление старославянских слов в современных газетных текстах. Неуместное, так как оно не обусловлено ни темой материала, ни коммуникативной задачей журналиста, ни, наконец, кон-

текстом: «Однако у Бориса Петровича тоже в отношении арбитров есть свое предубеждение: он искренне верит, что есть “фартовые” судьи и “нефартовые”» (Моск. комс. 1997. 22 февр.). Но судья – “тот, кто вершит высший суд, вершитель судеб” (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 805). И приравнивать любых, не только спортивных, судей к Богу не просто высокопарно, но и ошибочно. «Публика в кулуарах встречалась самая пестрая: от загорелого Коржакова со шлейфом из журналистов до явных шизиков, влачащих сумки типа “Олимпиада-80”» (Моск. комс. 1997. 29 апр.). Но сумки “влачить” нельзя. *Влачить*, как указывает тот же толковый словарь (С. 85), снабжая данное слово пометой “устар. высок.”, можно цени, а в переносном значении – век, дни, жизнь.

Соседство высокой лексики с модными сегодня жаргонизмами, просторечными словами ведет к пестроте изложения, к распространению элементов фельетона на все жанры современной газеты: “Давно Красная площадь не знала такого скопления разномастного люда, какое *постигло* ее вчерашним вечером” (Моск. комс. 1996. 6 окт.). Как свидетельствует тот же словарь, *постичь* может горе, несчастье, либо мы можем постичь, т.е. понять, уразуметь смысл чего-нибудь (С. 587).

Как видим, наметившаяся в языке современной печати установка на “социальный престиж” (термин Ю.М. Скребневса) именно заимствованного (иноязычного или старославянского) слова, поспешность его “нейтрализации” в газетной речи нередко приводят к неправильному словоупотреблению, так называемому “отрицательному языковому материалу”, который Л.В. Щерба определял как “всякое речевое высказывание, которое не понимается или не сразу понимается, или понимается с трудом, а потому не достигает своей цели” (Щерба Л.В. О троюком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Известия АН СССР. 1931. С. 126).

На уровне предложения испорченным красноречием Ф. Прокопович считал излишние перифразы, затуманивающие смысл сказанного, нагромождение красивых с точки зрения автора слов, маскирующих отсутствие мысли, ложную патетику высказывания в целом: «В предложениях бывает высокопарность, если в них выступают слова с гиперболическим, неестественным значением, хотя существует и общепонятное, например, когда какой-нибудь панегирист говорит, что само небо остолбенело от красоты царицы, которая шла важно, и что сама Юнона покраснела от стыда, и что есть две королевы Польши: одна на небе, а одна на земле и обе называются Мариями. Вот, например, такое: “что только горит становится розой”, или когда восхваляются посредственные люди: “Твоей славы не вмещает мир, а славное имя слышат за столбами Геракла”. Но наихудший вид этой высокопарности бывает тогда, когда в каком-нибудь посредственном или небольшом

деле заставляют что-то делать Ганнибалов, Александров, Пирров, спартанцев, а кроме того всех богов и богинь».

Этот порок глубоко поразил и современные газетные тексты. Сегодня журналисты пишут: не *зрители концерта*, а “участники мутационного действия” (Моск. комс. 1996. 6 дек.), не *открытие новой закуской*, а “инаугурация третьей закуской этой же фирмы” (Комс. пр. 1993. 10 июня). А как перевести с русского на русский такие многословные и напыщенные высказывания, как: “Железный занавес железным занавесом, однако мы – поколение застоя – умудрились все же потоптаться на пестрых голливудских просторах, примкнув к огромной толпе великого монстра киноиндустрии” (Центр plus. 1997. № 16)? Очевидно, смысл фразы таков: мы и во время застоя посмотрели классические голливудские фильмы. Или: “Это в Лондоне купить мраморный камин XIX века не проблема – главное, чтобы он вписался в уже существующий интерьер. В русских условиях такой камин воспринимается безусловной трансцендентальной ценностью” (Сегодня. 1996. 14 сент.).

Часто выпренность ведет к логическим ошибкам: “В прошлом остались *гласы вопиющих в пустыне* о том, что, дескать, нас держат за второй сорт, что осенняя мода, показанная в Париже летом, в конце ноября никому не нужна” (Коллекция. Прилож. к МН. 1996. № 14). Стремление усилить экспрессивность высказывания привело к нарушению структуры фразеологического оборота. Замена единственного числа на множественное нарушает логику высказывания: одиночество и пустыня невозможны при множестве вопиющих. Так же логически несоместимы экспансивность и сдержанность в следующем примере: “Люди эти могут быть экспансивными, не теряя при этом корректной сдержанности” (Экстра М. 1997. № 13).

Нагромождение слов типично для современных рекламных текстов. Здесь сказываются законы жанра – любимыми способами убедить читателя в преимуществах именно рекламируемых товаров, услуг и т.п. Но, может быть, убедительнее прозвучал бы откровенный призыв: “Отдыхайте в Турции, так как там чистое море, вкусная еда и дешевые товары!”, чем поиск смысла в непроходимых дебрях слов: “Вы получите большое наслаждение от купания в кристально-бирюзовой воде на восьми тысячах километров волшебного побережья с мельчайшим чистым песком. Вкуснее: питаться в одной из самых лучших кухонь мира с сотнями кулинарных изысканностей. Содержательнее: познакомиться с великопленной древней (свыше 8000 лет) культурой с многочисленными всемирно известными достопримечательностями. Выгоднее: не только отдохнуть, но и сделать в Турции особенно недорогие покупки” (Коллекция. Прилож. к МН. 1996. № 14)?

Как свидетельствует Ф. Прокопович, именно “таких горластых попицает в очень изысканной и прекрасной эпиграмме Марциал на неко-

его оратора Постума, который во время судебной речи о трех украденных козах, нагромоздил туда Муциев, Мариев, Суллов и различные войны:

Не за насилие, и не за убийство, не за отраву,
Сужусь я только из-за трех коз.
Жалуюсь, что их украл сосед у меня.
Но судья требует доказать это.
Ты же о Каннах и войнах Митридата,
И вероломстве невероятном карфагенцев,
И о Суллах, и Мариях, Муциях
Раскричался и руками жестикулируешь.
Постум, да скажи же хоть раз о трех козах."

Как видим, современность, к сожалению, пренебрегает предшествующей традицией. Все пороки, выявленные еще в древности, бытуют и в сегодняшней речи, особенно публицистической. Испорченное красноречие современной прессы ведет к стилистической и коммуникативной неудаче, так как мешает взаимопониманию говорящего и слушающего, а "язык как коллективное достояние имеет коммуникативную ценность лишь при условии взаимопонимания" (Винокур Т.Г. Указ. соч. С. 521).

Феофан Прокопович считал, что оратора нужно хвалить не за частности, а за весь стиль его. Пока что похвалы достойны немногие.

Практикум по культуре речи**Я ГОВОРЮ – ТЫ ГОВОРИШЬ**

Итак, мы уже знаем, как важно точно представлять смысл того слова, которым мы пользуемся (см. Русская речь. 1998. № 1, № 4). Сегодня давайте посмотрим, как соединяются слова друг с другом. Понятно, что мы не можем сочетать слова произвольно, по своему желанию. Обычно два слова можно соединить, если то, что они обозначают, сопрягается, связывается в реальном мире. Допустим, можно сказать “круглое яблоко”, но нельзя – “квадратное яблоко”, можно сказать “играть на рояле”, “играть на нервах” или даже “играть на столе”, но никак нельзя – “играть на атмосфере”.

Умеете ли вы правильно соединять слова с учетом того, что они значат, какие предметы, качества или действия обозначают, – это и покажут наши задания.

Задание 1. Ищем слово.

Какие слова пропущены в данных предложениях?

1. Лучшие я... эту бумагу ножницами.
2. Он никогда ... на гитаре.
3. Этот стол такой ...
4. Напрасно люди ... поколения ..., что дети сейчас совсем другие.
5. Когда моему первому “жигуленку” ... четыре месяца, я... крыло.
6. Англичанин походил, посмотрел на... в угол скульптуры, только что... с выставки, и удивился.

Внимание! В каких-то случаях вместо пропуска можно подставить одно-единственное слово, но может быть и несколько “кандидатов” на одно место.

Задание 2. Идеальная парочка

Составьте словосочетания из прилагательных и существительных:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| а) длинный, длительный, долгий, | воздействие, кредит, период, |
| долговременный, продолжительный | путь, сборы |
| б) мягкотелый, вялый, нерешительный | человек, переговоры, ответ |

Как это сделать? Скажем, у нас есть такие прилагательные и существительные:

гостеприимный, радушный,	прием, хозяин, человек
хлебосольный	

Найдем значение прилагательных, потому что они по смыслу очень близки и, на первый взгляд, могут сочетаться с любым из существительных.

Гостеприимный – “радушный к гостям; такой, который любит принимать гостей”.

Радушный – “исполненный радушия; выражающий радушие”, а радушие – это “сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, с готовностью чем-л. услужить”.

Хлебосольный – “исполненный радушия при угощении; такой, который любит угощать”.

Как видим, эти прилагательные все-таки различаются по смыслу и сочетаются с предложенными существительными так:

Гостеприимный → человек (хозяин)

Радушный → прием (хозяин)

Хлебосольный → хозяин

Задание 3. Есть ли у недоразумения автор?

В каких сочетаниях вместе оказываются слова, которые соединять нельзя? Чтобы ответить на этот вопрос, надо как можно точнее представить значение каждого слова.

Автор книги, автор конструкции, автор станка, автор проекта, автор инициативы, автор костюма, автор недоразумения.

Как это сделать? Скажем, есть такие словосочетания:

География нефтедобычи, география туризма, география поиска, география достижений, география шелка, география рекордов.

Сначала слово *география* обозначало комплекс наук, изучающих поверхность Земли с ее природными условиями, распределение на ней населения, экономических ресурсов. Затем у этого слова появляется

новое значение – “изучение распространения чего-л. на земной поверхности или в какой-л. местности, районе”. В наших сочетаниях слово *география* обозначает уже “распространение каких-л. действий, процессов”. Поэтому сочетания *география нефтедобычи*, *география туризма*, *география поиска* будут правильными; но нельзя сказать *география шелка*. А вот сочетания *география достижений* и *география рекордов* находятся в “серой зоне”: эти “парочки” возможны (потому что достижения и рекорды – это результаты каких-то действий), хотя их трудно назвать абсолютно правильными.

Задание 4. “Веревочка”

От каждого данного исходного слова постройте ряд, в котором каждое слово по смыслу сочетается со своими “соседями”:

ассортимент, доморощенный, навёрстывать, приоритетный, рекорд.

Попробуйте сделать это как можно быстрее, не раздумывая. В каждой “веревочке” должно быть не меньше 10 слов. При этом нужно, чтобы каждое слово имело одно и то же значение и в сочетании с “соседом” справа, и в сочетании с “соседом” слева.

Как это сделать? Допустим, дается исходное слово *панацея*. С каким словом оно сочетается? Скажем, со словом *болезнь*: *панацея* → *болезнь*. С каким словом сочетается слово *болезнь*? Например, со словом *лечить*: *панацея* → *болезнь* → *лечить*. И так далее. В результате можем получить такую “веревочку”: *панацея* → *болезнь* → *лечить* → *ребенок* → *воспитывать* → *успешно* → *выступать* → *цирк* → *гастролирующий* → *музыкант*.

Задание 5. “Паутинка”

На основе каждого исходного слова постройте предложение так же, как паучок плетет паутину: к одному слову привязывается другое, но так, чтобы получилось единое по смыслу высказывание:

впрок, дальний, одинаковый, переломить, филигранно.

Как это сделать? Допустим, дается исходное слово *болтаться*. С какими словами оно сочетается? *Болтаться* → *ружье*. Теперь поищем другие слова, которые сочетаются со словами *болтаться* и *ружье*, но с учетом уже полученного сочетания: скажем, *болтаться* → *за спиной*; *ружье* → *охотничье*; *ружье* → *новое*. И так далее. В результате можем получить такую фразу – “паутинку”: *За спиной у меня болталось новое охотничье ружье, подаренное по случаю приезда к дядюшке в деревню.*

Задание 6. Да или нет?

Можно ли так сказать? Если “да” – поставьте “+”, если “нет” – “-” и объясните, в каких сочетаниях слова соединяются неправильно.

1. Благотворительные люди часто делали взносы для содержания заключенных.
2. Кавалеристы неплохо повоевали в гражданскую войну (вспомнить хотя бы знаменитую конницу Буденного), а затем их упразднили.
3. Если закон не может объяснить, что читать чужие письма, подсматривать за чужой жизнью и подслушивать чужие разговоры – плохо, то давайте впишем в закон, что это хорошо.
4. Цветы поступали гигантскими партиями. Один из самых объемных букетов был от будущей крестной матери.
5. Этот художник шел дальше всех в рукотворной обработке снимков.
6. Эта книга состоит из пяти частей, в которых даются предварительные понятия о мире.
7. Вы выходите из теплого чрева самолета в аэродромную черноту, и вдруг у вас перехватывает дыхание, как при входе в ледяную воду.
8. Скульптор установил лицо памятника (Лобачевскому. – *Н.М.*) совершенно целенаправленно: взором на здание Казанского университета, ректором которого Лобачевский был около двадцати лет и где он сделал открытие, внесшее коренные изменения в представление о природе пространства.
9. Помнится, раньше в трудные для семейного бюджета минуты мы бежали к бабушкам и дедушкам: занять пятерку до полочки.
10. Ничего еще, в сущности, не было готово, но Федорова уже охватило то счастливое расположение духа, когда все решительно кажется возможным и, глядишь, действительно удастся все.

Н.В. Муравьева ©,
кандидат филологических наук

Ответы см. на с. 125

Практикум по культуре речи

Ответы к заданиям (см. с.)

Задание 1.

1. Лучше я *разрежу* эту бумагу ножницами.
2. Он никогда *не играл* на гитаре.
3. Этот стол такой *большой (красивый, неудобный...)*.
4. Напрасно люди старшего поколения *думают (говорят, утверждают...)*, что дети сейчас совсем другие.
5. Когда моему первому “жигуленку” *исполнилось (стукнуло, было...)* четыре месяца, я *поцарапала (помяла...)* крыло.
6. Англичанин походил, посмотрел на *сложенные (сваленные, поставленные...)* в угол скульптуры, только что *привезённые (принесённые)* с выставки, и удивился.

Задание 2.

а) Длинный – 1) “имеющий большую длину, протяжение”; 2) то же, что длительный.

Долгий – “продолжительный, длительный”.

Длительный – “долго продолжающийся”.

Продолжительный – “долго продолжающийся”.

Долговременный – “очень продолжительный, рассчитанный на длительное пользование”.

Длинный → путь (в значении “дорога, полоса земли, предназначенная для передвижения”).

Долгий → путь (в значении “путешествие, поездка”)

Долгие → сборы

Длительный → период (воздействие)

Продолжительный → период (воздействие)

Долговременный → кредит

б)

Мягкотелый – “с мягким, полным телом”; “слабохарактерный”.

Вялый – “лишенный бодрости, энергии”; “увядший”.

Нерешительный – “мягкий в поступках, колеблющийся”; “постоянно меняющийся, выражающий мягкость, слабость”.

Мягкотелый → человек

Вялый → человек (ответ, переговоры)

Нерешительный → ответ (человек)

Задание 3.

Автор – “создатель какого-н. произведения, научного труда, проекта, изобретения”, иными словами, того, что может выглядеть как некий текст, рисунок. Поэтому сочетания *автор книги* и *автор проекта* будут правильными; но нельзя сказать *автор недоразумения*, *автор инициативы* и *автор станка*. А вот сочетания *автор конструкции* и *автор костюма* находятся в уже известной нам “серой зоне”: эти “па-

ры” возможны (потому что конструкцию и костюм можно изобразить на бумаге), хотя их трудно назвать правильными.

Задания 4–5.

Ассортимент → широкий → распространение → добиваться → труд → тяжелый → день → начинать → жизнь → отец

Доморощенный → писатель → издавать → журнал → детский → одежда → модельер → известный → человек → подготовить → проект → сомнительный.

Наверстывать → упущенное → недосмотр → допускать → ошибка → серьезный → разговор → бояться → волк → опасный

Приоритетный → направление → выбирать → поездка → деловой → мир → спорт → отличаться → сильно

Рекорд → ставить → эксперимент → удачный → поездка → отправляться → компания → веселый → праздник → провести → изучение

Впрок → запасать; запасать → овощи, бабушка, всегда; овощи → много; бабушка → приятель; приятель → мой; *Бабушка моего приятеля всегда запасает впрок много овощей.*

Дальний → родственник → надоедать → приезд; приезд → бесконечный, свой, не ко времени; надоедать → постоянно, ему; родственник → этот: *Этот дальний родственник постоянно надоедал ему своими бесконечными приездами не ко времени.*

Одинаковый → решение, (не) искать → решение, никогда, руководитель, ситуация; руководитель → талантливый; ситуация → разный: *Талантливый руководитель никогда не ищет одинаковых решений в разных ситуациях.*

Переломить → нрав, с трудом, суметь; нрав крутой, мужа; (не) суметь, она; до конца; до конца жизни: *Она до конца жизни так и не сумела переломить крутой нрав мужа.*

Филигранно → выполнять; выполнять → работу, умение, легко; умение → его, выдавать; выдавать → мастер, он; работа → самая трудная; мастер → настоящий: *Его умение легко и филигранно выполнять даже самую трудную работу выдавало в нем настоящего мастера.*

В этих заданиях могут получиться самые разные “веревочки” и “паутинки”. Наши “веревочки” и “паутинки”, конечно, отличаются от ваших. Поэтому полезно проверить, правильно ли вы составили словосочетания, с помощью общего толкового словаря или словаря сочетаемости (см. “Словарь сочетаемости слов русского языка” под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. М., 1978).

Задание 6.

В нескольких предложениях этого задания нет ни одной лексической ошибки – третьем, седьмом, девятом и десятом. В остальных предложениях есть такие слова, которые неправильно соединяются с другими словами: по смыслу они не могут быть “парами”.

1. Неправильно: *Благотворительные люди* часто делали взносы для содержания заключенных.

Благотворительный – “имеющий целью оказание материальной помощи неимущим”. *Благотворительным (ой)* может быть *спектакль, лотерея, деятельность, общество*, но никак не люди.

2. Неправильно: *Кавалеристы* неплохо повоевали в гражданскую войну (вспомнить хотя бы знаменитую конницу Буденного), а затем их *упразднили*.

Кавалерист – “военнослужащий кавалерии”; упразднить – “отменить, ликвидировать”. *Упразднить* можно *кавалерию* как “конное войско”.

4. Неправильно: Цветы поступали гигантскими партиями. Один из самых *объемных букетов* был от будущей крестной матери.

Объемный – от “объем”, “величина чего-л. в длину, высоту и ширину, измеряемая в кубических единицах”; букет не имеет объема в этом смысле.

5. Неправильно: Этот художник шел дальше всех в *рукотворной обработке снимков*.

Рукотворный – “созданный, сделанный руками человека, человеческим трудом”. Может быть *рукотворным лес, море, мир*, но не *обработка снимков*.

6. Неправильно: Эта книга состоит из пяти частей, в которых дают-ся *предварительные понятия* о мире.

Предварительный – “предшествующий чему-н., бывающий перед чем-н.”; “неокончательный; такой, после которого следует еще что-то”. *Предварительным (ой)* может быть *следствие, подготовка или соглашение, результат*, но не понятие. *Понятия* могут быть *основными, простыми и сложными, важными* и т.д.

8. Неправильно: Скульптор *установил лицо памятника*, совершенно целенаправленно: *взором* на здание Казанского университета, ректором которого Лобачевский был около двадцати лет и где он сделал открытие, внесшее коренные изменения в представление о природе пространства.

Лицо – “передняя часть головы человека”; взор – “направление зрения на кого-что-н.”; установить – “поставить надлежащим образом”. Поэтому нельзя *установить лицо*, а у памятника нет ни лица, ни взора. К тому же сомнительно, чтобы скульптор *устанавливал* памятник.

Итак, теперь мы знаем о законах сочетания слов и о такой лексической ошибке, как *нарушение сочетаемости слова*, когда слова соединяются без учета их смысла.



От покаяния – к благотворительности

Е.И. КЕДАЙТЕНЕ

доктор филологических наук

Чтобы узнать и понять культуру народа, мы обращаемся к ее истокам, к древним текстам, к записанному слову. Культура – это нравственная и духовная сила человека; само слово (по-латыни) означает “возделывание” (возделывание ума, души), т.е. воспитание. На протяжении всей истории русского общества религиозное воспитание оказывало серьезное влияние на формирование нравственности человека. Известно, что былая религиозность значительно изменилась, современный верующий никак не отождествляется, скажем, с верующим средневековья, особенно в России. Однако Россия не утратила своих православных традиций.

Евангелие от Иоанна начинается со стиха: “В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог”. Для наших предков эта библейская фраза была священна. “Божьему слову” издревле на Руси придавали особое значение: христианин может утверждаться в вере и благочестии “только почитанием книжным”. Духовные тексты верующие знали, читали, учили, слушали, произносили.

Нравственные идеалы христианства широко отражены в лексике древнейших славянских памятников. Например, в таких словах, как *покаяние*, *смирение*, *кротость*, *благотворительность*. История этих слов неодинакова; в зависимости от социально-идеологических факто-

ров значение их менялось, особенно в послеоктябрьский период. Несомненно то, что эти слова сохранили и семантически обогатили поэты, писатели, деятели культуры, развивавшие нашу духовную культуру.

Покаяние. В Откровении Иоанна, в Благовестии от Иоанна, в Письме Павла к колоссянам и других библейских текстах повествуется о том, что после покаяния жизнь христианина менялась: Бог простил грехи, Иисус Христос вошел в жизнь покаявшегося, и он начал творить добрые дела с любовью и верой. “Покаяние” в Библии – это духовный закон, выражающий то, что каждый человек в молитве к Богу должен обратиться с покаянием, т.е. с просьбой о прощении и искренне поверить, что Христос поможет стать ему таким, каким хочет видеть его Бог: человек своими замыслами и поступками должен совершать добрые дела – творить добро. Слово *покаяние* часто употреблялось в канонических текстах. Так, в Евангелии от Луки: “Сотворите оубо плоды достойны покаяния...” (3, 8); “Сотворите же достойные плоды покаяния...”; в Евангелии от Матфея: “Аз оубо крещая вы водою в покаяние...” (3, II; “Я же крещу вас в воде в покаяние...”); в Евангелии от Луки: “Не приидох призвати праведных, но грешных в покаяние” (5, 32; “Я не пришел призвать праведных, а грешников к покаянию”).

В словаре церковнославянского и русского языка, составленном Вторым отделением императорской Академии наук (1867) *покаяние* представлено в трех значениях: 1 – одно из семи таинств церкви; 2 – действие кающегося (Принести покаяние в своих грехах); 3 – духовное наказание для очищения совести (Быть послан на покаяние). Словарь Академии Российской (1806–1822) отмечает два из названных значений, уточняя и конкретизируя их: 1 – признание в грехах с сожалением о сделанном оных и с расположением к исправлению; 2 – вообще посты, молитвы, изнурение плоти и все строгости, которым человек подвергается для заглаживания грехов своих.

В богослужебных книгах утверждалось, что душа человека, очищенная от пороков через покаяние, становится богаче и полной духовной радости. Слово *покаяние* жило в народе, о чем свидетельствуют многие народные выражения и изречения с ним: *После смерти нет покаяния; В чем грех, в том и покаяние* (или спасение); *Виноватый в вине, правый в правде, а всякому греху покаяние; Отпусти душу мою на покаяние; Супротив греха и покаяние* и др. (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка).

Словарь русского языка С.И. Ожегова под ред. Н.Ю. Шведовой (1987) приводит лишь одно значение слова *покаяние*: добровольное признание в совершенном поступке, в ошибке (книжное). Религиозное начало в нем совершенно исчезло. Более того, выражение *Отпустить душу на покаяние* воспринимается как шутовское. Интересно было узнать о понимании смысла этого слова молодыми людьми, воспитывавшимися в нашем атеистическом государстве. Оказалось, что по-

каание в их употреблении семантически емкое слово. Ответы студентов-филологов 3-го курса были следующие: покаяние – это осознание своих грехов, сопровождающееся сожалением и раскаянием; чистосердечная исповедь; глубокое искреннее публичное раскаяние; поиск прощения; облегчение души; религиозный термин, обозначающий отказ от предыдущих убеждений, поступков; суд над собой; признание грехов, желание получить прощение Бога или человека.

·*Смирение*. Покаяние и добродетель могут привести к духовному обновлению и исцелению от нравственных недугов, говорится в Священном Писании. Одна из основных христианских добродетелей – смирение. Новый завет открывает нам это слово в значении “уничтожение” (сердечное сознание слабостей, чувство своего недостойства: “яко призре на смирение рабы своея: се бо отныне оублажать мя вси роди” (Евангелие от Луки. 1, 48; “что призрел бы на смирение рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды”). А также в значении “безопасность, мир”: “Во смирении [в безопасности] суть имения его еже к смирению [миру] твоему” (Там же).

В текстах древнерусского языка *смирение* получило широкое распространение. Оно включает в себе такие понятия, как “обуздание”: “Наоучися по евангельскому словеси очима оуправленье, языку оудержанье, оумоу смиренье ... помысл чист имети” (Поучение Владимира Мономаха); “унижение”: “Помилои мя, Господи, и вижь смирение мое от враг моих” (Псалтырь 1280 г.); “покорность”: “Призри на смирение мое и подаи же разум сердцю моему” (Чтение о житии и о пагублении Бориса и Глеба. Нестор); “кротость”: “Праведник съмирением оустави ярость их” (Пандект Антиоха XI в.); “ничтожество”: “Съмирися образ рабии прием, сообразен быв телеси смирения нашего” (Служебник Варлаама XII).

В Словаре церковнославянского и русского языка (1867) отмечают следующие значения слова *смирение*: 1 – действие смиряющего и смирившего; 2 – сердечное сознание слабостей, чувство своего недостойства; 3 – место заключения, тюрьма, темница (старое). Словарь Академии Российской (1806–1822) также указывает на то, что это слово отражает чувства человека, признающего свои слабости: 1 – уничтожение себя, унижение; 2 – усмирение, укрощение другого; 3 – кротость, униженность.

В смирении, в чистоте сердца люди молили Бога, чтобы мир и любовь были в их доме. В. Даль в своем словаре приводит большое количество народных выражений и изречений со словом *смирение* (*смиренье*): *Смирение паче гордости; Смирение пользует, кичение губит; Смирение и кротость побеждают строптивость; Смирение плоти, подчинение ее духу, поработенье; укрощение страстей, похотей; Ум во смирении; Смиренье – Богу угожденье, уму просвещение, душе спасенье, дому благословенье и людям утешенье; Смиренье поборают*

гордыню, аки Давид Голиафа; Смиренье – девичье (или молодцу) ожерелье; Конь (вол) налогом (тяжелой работой) берет, человек смиреньем.

Интересно использует слово *смирение* А.С. Пушкин. Он придает ему такие оттенки значений, как “скромность, стыдливость, отсутствие развязности, кичливости”: “С искренним смирением принимаю похвалы неизвестного критика”. Но в то же время сохраняет духовно-нравственное начало: “Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, / Да брат мой от меня не примет осужденья, / И дух смирения, терпения, любви / И целомудрия мне в сердце оживи” (Отцы-пустынники и жены непорочны...).

Забвение культурно-религиозной жизни прошлого привело к обеднению языковой культуры. И, в частности, исконное значение славянского слова *смирение* перестало использоваться; в словарях современного русского языка оно представлено с пометой *книжное, устаревшее* (Толковый словарь русского языка. В 4-х т. Под ред. Д.Н. Ушакова; Словарь русского языка. В 4-х т. Под ред. А.П. Евгеньевой). А Словарь С.И. Ожегова (1987) придает этому слову новый смысл – “отсутствие гордости и готовность подчиниться чужой воле. *Показное с[смирение]*”. В современном русском языке слово *смирение* сохранилось, но в массовом сознании потеряло свой исконный смысл. Вот, например, понимание студентами слова *смирение*: непротивление обстоятельствам; принятие обстоятельств такими, какие они есть; покорность судьбе, признание невозможности ее изменить; покорность, послушание; терпение; невозмутимость в трудных ситуациях, несопротивление; умение подчинить свои эмоции другим; подобострастие; успокоение; полное подчинение своих интересов Богу и людям.

Кротость. Как повествуют памятники древней письменности, святые Борис и Глеб, погибая от рук наемных убийц, не отстаивали свои права и не боролись за жизнь. Борис обращается к образу Иисуса Христа со словами: “Сподоби меня принять страдание не от врагов, а от брата”. Борис и Глеб принесли себя в жертву братоубийственному миру, повторили крестный путь и смерть Христа на кресте; своей кротостью они стали исполнителями евангельского закона.

Тексты Священного Писания раскрывают следующие значения слова *кротость*: “снисхождение, милосивость, благосклонность, смирение, тихость”. Так, в Деяниях святых Апостолов: “Молю тя послушати нас вкратце твоею кротостию” (со свойственным тебе снисхождением). В Первом послании Павла к коринфянам: “Сам же аз Павел молю Вы кротостию и тихоостию [снисхождением] Христовою”. В Послании Павла к филиппийцам: “Кротость ваша разумна да будет”. Слово *кротость* находим во многих текстах Нового завета. Оно используется в таких, например, предложениях и сочетаниях слов: *Кротость покрывает и большие поступки; И оказывать всякую кротость; В крото-*

сти примите насаждаемое слово; Дать ответ с кротостию и благословением; С кротостию наставлять противника; Поступать ради истины и кротости и правды.

В древней Руси с принятием христианства и широким распространением духовной литературы слово *кротость* вошло в литературно-письменный язык. В памятниках древнерусской письменности оно употребляется как “смирение, покорность, незлобивость”. В Изборнике Святослава 1076 года читаем: “Кротость же есть еще никому же не досаждати ни в словеси ни в делеси ни в повелении ...”. В “Молении Даниила Заточника” (XII в.) находим: “Господи, даи же князю нашему... кротость Давидову”.

Книжно-славянская стихия была воспринята А.С. Пушкиным и творчески использована. Слова *кротость*, *кроткий* употреблялись им в значении “незлобивость”, “незлобивый”: “[Игумен] Я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал его под начало отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному” (Борис Годунов). В понятие “кроткий” Пушкин вносит тонкий оттенок значения “проникнутый кротостью” (о чувствах): “Благословен всевышний, поселивший / Дух милости и кроткого терпения / В душе твоей, великий государь” (Борис Годунов). *Кроткими* поэт считает женщин: “О, кто бы ни был ты: старик ли вдохновенный, / Иль юности моей товарищ отдаленный, / Иль отрок, музами таинственно храним, / Иль пола кроткого стыдливый херувим, – / Благодарю тебя душою умиленной” (Ответ анониму); “Вошла, взирает с изумленьем... / И тайный страх в нее проник. / Лампады свет уединенный, / Кивот, печально озаренный, / Пречистой девы кроткий лик / И крест, любви символ священный” (Бахчисарайский фонтан). В русском литературном языке Пушкин семантически преобразует церковнославянское слово *кротость*.

Народный язык обогатился выражениями, созданными благодаря этому слову: *Лютость бедит* (губит, портит), *кротость побеждает*; *Не ищи мудрости, ищи кротости*; *Аще обрящещи кротость, одолевши мудрость*; *Духом кротости, а не палкой по кости*; *Не слушаешь духа кротости, так палкой по кости*.

Современные словари отмечают, что существительное *кроткость* малоупотребительно, чаще используется прилагательное *кроткий* со значением “незлобивый, покорный, смирный”: *кроткий характер*; *кроткая душа*. Незнание нашей молодежью христианского вероучения приводит к нетрадиционному толкованию, не совсем правильным ассоциациям этого этического слова. Студенты давали разные ответы о его значении: *кротость* – это душевная мягкость; вежливость; отсутствие стремления выделиться среди других; нерешительность; терпимость; некая забитость; отсутствие воли; боязливость. Но были ответы, соответствующие исконному значению слова: смирение, противопление, покорность, незлобивость.

Благотворительность. Сейчас возродилось и широко используется в нашей речи это книжнославянское слово. В древнейших памятниках *благотворительность* с суффиксом *-ость* не зафиксировано. Для передачи понятия “совершение добрых дел” было создано слово с суффиксом *-ниѣ* – *благотворение*, которое и занимает заметное место в текстах Священного Писания. Благотворение включает в себе значение “делать добро, оказывать милость, благодетельствовать”. Но особенно употребительны в памятниках письменности глагол *благотворити* и прилагательное *благотворительный*. Кроме данных образований существовало и слово *благотворѣцъ*, также отражающее нравственное понятие.

Здесь уместно отметить, что в древности существовало слово *благолепие*, имеющее значение “благообразие”, “красота”. Нам оно интересно своим образованием. *Благолепие* создано по аналогии с греческим словом *калоагафия*, которое состоит из корней слов *калос* – прекрасный и *агатос* – добрый. Примечательно то, что славянские переводчики, передавая понятие этого слова, напротив, первое место в слове отвели нравственности – *благо* (добро), а потом уже эстетике – *лепие* (красота), что свидетельствует о создавшейся системе ценностей у славянских христиан.

В текстах древнерусской письменности употребляется та же лексика: *благотворение*, *благотворие*, *благотворѣцъ*, *благотворѣство*, *благотворити*. *Благотворение* – “Маслом благотворения окрасити своя свещу” (Пандект Антиоха XI в.); “Тогда же убо яз ко всем своим князем и боляром по вашему благословению, а по их обещанию на благотворение, подах прошение в их к себе прегрешениях” (Стоглав XVII в.); *благотворие* – “Яко же с надеся благотворю еже отражать мнози, еже к нищим благосердие” (Пандекты Никона Черногорца 1296 г.). Слово *благотворительность* с суффиксом *-ость* отмечено в Словаре русского языка XVIII века со значением “деятельность, поступки, направление на совершение блага, добра”.

В русский язык вошли многие книжнославянские слова, выражающие понятие “делать добро”. У В. Даля приведены в Толковом словаре *благотворительность*, *благотворительный*, *благотворецъ*, *благотворитель*, *благотворица*, *благотворительница*, *благотворить*, *благотворение*. Почти вся эта лексика осталась в прошлом и только слова *благотворительность* и *благотворительный* вошли в нашу речь. Но значение их изменилось. В них отразилась идеологизация послереволюционного периода. В Толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова читаем: “**Благотворительность** – оказание материальной помощи бедным (устар.) {...} *Не хочу я благотворительностью заниматься, пускай деньги платят*”. Словарь С.И. Ожегова (1987) дополняет: “**Благотворительность** – в условиях буржуазного общества: оказание частными лицами материальной помощи бедным из милости. *Частная*

б[лаготворительность] – одно из средств маскировки эксплуататорской природы буржуазии”.

В наше время смысл “благотворительность”, “благотворительный” в связи с изменившимися социальными условиями стал восприниматься по-иному. Этим словам возвращается прежнее понятие “творить, делать добро”. Однако благотворительность используется нередко ради рекламы или во избежание налогов, или возвеличивания себя и т.п., словом, за что-то. Исконный же смысл благотворительности – это жертвование; отдача людям своего таланта, душевной красоты, материальных благ бескорыстно, не беря ничего взамен, что и должно возрождаться.



ТИРЛИЧ-ТРАВА*

*Н.А. КРИНИЧНАЯ,
доктор филологических наук*

При объяснении названия этого чародейского растения ученые ограничиваются лишь одним суждением: “темное слово” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. М., 1987, т. IV). А между тем, по поверьям, тирлич (терлич) – излюбленное зелье ведьм, надумавших перевоплотиться в сороку, превратить в нее других, а то и улететь, вовсе не принимая птичьего облика. По поверьям, чудодейственную траву собирают в Иванов день на Лысой горе, близ Днепра, под Киевом. Впрочем, согласно другим локальным традициям, ее отыскивают на близлежащих лесных опушках либо на незаболоченных лугах.

В Олонецкой губ. в середине прошлого века был зафиксирован мифологический рассказ, согласно которому киевские ведьмы ежегодно в ночь накануне Ивана Купалы прилетают в облике сорок на остров Иванцов, близ заонежской деревни Кузаранда, чтобы запастись здесь “разными снадобьями и травами”. Как утверждает рассказчик, “травы эти, совершенно отличные по виду и свойству от обыкновенных, уносятся ведьмами на Лысую гору” (Ломачевский Д. Этнография Петрозаводского уезда // Семейный круг. 1859. № 9; Легенды. Предания. Бывальщины / Сост., подгот. текстов., вступ. статья и примеч. Н.А. Криничной. М., 1989). Судя по тому, что ведуньи-зелейницы смогли при-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. № проекта 96-04-06151.

нять облик сорок и обрести способность летать, дело здесь не обошлось без применения травы тирлич или ей подобных. Эту мифическую траву обычно идентифицируют с реальными растениями, известными в народе под названием *стародубка*, *нарочная* (*нброчная?*), *бешеная трава*. Тирлич же опознают в растении, которое в ботанике причисляется к семейству горечавковых, и прежде всего в горечавке пазушной (*Gentiana amarella*) или в купене (*Polygonatum officinale*). Собрав нужное количество этой чудодейственной травы и дорожа ею “пуще всяких сокровищ”, ведьмы стараются уничтожить всю остальную, чтобы никто другой не смог воспользоваться ее магическими свойствами.

С целью обрести способность перевоплощаться и летать они выжимают из тирлича сок и натирают себе подмышки. Такого же эффекта, по поверьям, можно достичь и используя растение, известное в народе под названием *петровы батог*, или *желтяница*. В ботанике ему соответствует цикорий обыкновенный (*Cichorium intybus*). Посредством травы *петровы батог* ведьмы перевоплощают других: поят девушек ее соком – и те “чиликают сороками” (Снегирев И. Русские в своих пословицах. М., 1834. Кн. IV), т.е. претерпевают превращение, в данном случае – не полное.

Для подобных деяний может быть использован и отвар или мазь (“состав”), изготовленные из определенных трав. По словам рассказчиков, ведьма варит корень тирлича в горшке и этим снадобьем мажет у себя под мышками и коленками, после чего стремглав уносится в трубу. Или применяется заранее приготовленный “состав”: “{...} отворяет баба сундук, зажигает свечку [штраховую (т.е. страстную. – Н.К.)] али еще какую – неизвестно], вынула маленький пузырек, *умазалась* с него, не заметиу – нос, али лысину, сундук закрала, смотрит – *зайграла!* Только заслона ляснула – у трубу, значит, *улетела* (курсив в цитатах наш. – Н.К.)” (Смирнов А.М. Сборник великорусских сказок архива Географического общества // Зап. Русского географического общества по отделению этнографии. Пг., 1917. Т. XLIV. Вып. 1–2. № 197). Возвратившись к окну, которое оказалось к тому времени уже закрепленным, ведьма “*сорокой* будет коло в’окон биться, *сорокой* *защекочет*” (там же). Или: “{...} подходит к полочке, взяла маленькую скляночку и чем-то из нее *помазала* себе нос. Обернулась *сорокой* и *вылетела* в трубу на волю, и *улетела*” (Зеленин Д.К. Великорусские сказки Вятской губернии // Зап. Русского географического общества по отделению этнографии. Пг., 1915. Т. XLII. № 15). И даже простой смертный (зачастую прохожий солдат), не искушенный в тайнах ведовства, но оказавшийся случайным свидетелем перевоплощения и полета ведьмы, воспользовавшись тем же “составом”, “вдруг, и сам не знает почему, *обернулся сорокой* и выскочил в трубу и *полетел*” (там же).

Мало того, посредством травы тирлич ведьма может побудить или принудить к полету людей, находящихся вдали от нее. Нередко она ис-

пользует чародейское снадобье для призыва своего возлюбленного. Варит корень чудесного растения с приговором: “Терліч, терліч! мо-го милого прикличы!” (Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3-х тт. М., 1994. Т. 3). По рассказам, едва только зелье закипит, как призываемый срывается с места и летит, как птица (былые представления о перевоплощении со временем трансформируются в поэтической троп, в данном случае – в сравнение). Причем высота полета зависит от силы кипения зелья: чем интенсивнее оно кипит, тем выше призываемый летит; при слабом же кипении находящийся под воздействием этого снадобья может разбиться о дерево. По другим рассказам, распространенным во всей славянской традиции, знахарка посредством зелья, подобного тирличу, в качестве наказания принуждает колдуна носиться в воздухе: “Баба сжигала на камине зелье (...) – колдун в одной рубашке вертелся в воздухе. (...) люди, бывшие на поле, видели, как нечистая сила несла его над гнилым озером” (Повести и предания народов славянского племени, изданные И. Боричевским. СПб., 1840. Ч. 1). Причем вместо колдуна-птицы здесь уже фигурируют колдун + птицы: “а вслед летела стая ворон и галок с пронзительным криком” (там же).

Если тирлич обеспечивает наряду с полетом и перевоплощение, то другие травы используются лишь в качестве “аэростатического зелья”. Прежде всего это шалфей и рута. Подобно тирличу, их варят в горшке. Едва только зелье закипит, как ведьмы, даже не меняя облика, уносятся вместе с паром в трубу. Нередко этот полет носит характер коллективного действия: “Вот собралось их, этих баб, там вот штук несколько, там три или четыре. Вот теперь, какой-то флакончик у их. Они шчас раз! – намажутся и – к шестку. И раз! – в трубу и улетела. Теперя, втора и третья так...” (Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. Сост. В.П. Зинovieв. Новосибирск, 1987. № 247). Причем, согласно украинским мифологическим рассказам, “какой-то навар” или “какая-то мазь” готовится старшей, или прирожденной, ведьмой, а остальные, “ученые”, лишь пользуются этим зельем: “(...) а хозяйка его была ведьма рождена. Она наготовила кой-то мази и поставила на припечку. Когда собрались все местные ведьмы, то стали подходить одна за другой к припечку и мазать этой мазью у себя под мышками: как только какая помажет, так тотчас и полетит в трубу” (Иванов П.В. Народные рассказы о ведьмах и упырях // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991).

Подчас вместо зелья, горящего или кипящего в печи, ведьма использует золу из купальского костра, которую она добавляет в купальскую воду и кипятит этот состав. Как только ведьма обрызгает себя приготовленным снадобьем, она поднимается в воздух и летит, куда ей заблагорассудится (Об украинских народных преданиях. Перевел с польск. В. В-ский // Москвитянин. 1846. Ч. VI. №№ 11–12. Критика; Балов А.В.

К вопросу о характере и значении древних “купальских” обрядов и игр // Живая старина. 1896. Вып. 1. Отд. V. Смесь). Роль четырех стихий в изначально имеющем здесь место перевоплощении очевидна.

Заметим попутно, что для превращения людей в других животных в ведовской практике использовались иные растения. О таких травах (среди них были и ядовитые), растущих на Понте, пишет Вергилий: “Видел я и не раз, как в волка *от них превращался* Мерис и в лес уходил” (8-я эклога “Буколик”, перевод С. Шервинского). На почве подобных представлений аналогичный сюжет сформировался и в русской мифологии: ведьмы, приготовив те или иные мази из трав (папоротника, белоголовника, шалфея, плакуна, дурмана, адамовой головы, ивана-да-марьи, чертополоха, подорожника, полыни и пр.), обретающих в их руках особую магическую силу, и натирая ими свое тело, могут по собственному желанию принимать облик разных животных, например, свиньи. Посредством чародейских трав они способны перевоплотить и других. Плеснув в глаза человеку некую жидкость (“состав”), ведьма может превратить его в собаку, кобылу, птицу, волка или же, наоборот, вернуть ему прежний облик.

Что же касается тирлича, равно как и других подобных трав, то важно отметить одну особенность в условиях проявления его магических свойств. Его воздействие связано со сном. Об этом условии речь идет и в мифологических рассказах: “Солдат шел со службы, зашел к женщине переночевать. Она его спать уложила. Думала, что спит, *встала*, достала пузырек, помазалась и полетела” (Былички и бывальщины. Сост. К. Шумов. Пермь, 1991. № 263). Или: “*Легли*, побормотали, ведьмы-то...” (Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 244), т.е. ложась перед полетом в постель, они, по всей вероятности, произносили какие-то заклинания. Обращает на себя внимание и тот факт, что сном, как повествуется в бывальщинах и поверьях, полет обычно и завершается: впорхнув в трубу, ведьмы вновь *ложатся спать* (там же. № 125). О необходимости сна перед полетом на шабаш свидетельствуют и многочисленные показания средневековых ведьм, данные ими на судебных процессах (Роббинс Рассел Хоуп. Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 1994).

В некоторых русских мифологических рассказах натирание волшебной мазью совершается после того, как ведьма уже встала, пробудившись от сна. По-видимому, здесь мы имеем дело с поздней трансформацией. Изначальная же коллизия сохранена в восточнославянской, и прежде всего в украинской, мифологии: собираясь лететь на шабаш, ведьмы кладут под себя тирлич или, ложась в постель, натираются мазью, состоящей из разных трав, взятых в определенных сочетаниях и пропорциях. О том, что такие представления изначально, свидетельствует, в частности, “Демонomania” Бодинуса, в XII главе которой утверждается: ведьма пользуется снадобьем перед сном, после чего ложится

в постель и тотчас же засынает, а наутро рассказывает о своем полете по воздуху (Демонология эпохи Возрождения (XVI–XVII вв.). Пер. с англ., лат., нем., франц. Общая редакция и составление М.А. Тимофеева. М., 1995).

Травы, применяемые в этих целях ведьмами, занимают особое место в народных верованиях. В действительности же речь идет, в основном, о растениях, оказывающих наркотическое воздействие. Это *белена черная* (*Hyoscyamus niger*) – трава смерти, очень ядовита, вызывает нервное расстройство, возбуждает в сонном человеке ощущение полета по воздуху; *дурман* (*Datura stramonium*) – ядовитое растение, снотворное, одурманивающее, подобно опиуму, вызывает в сознании человека фантастические сцены шабаша, видения, галлюцинации; все предметы представляются увеличенными в своих размерах; *борец синий* (*Aconitum napellum*) – ядовитое растение; *чемерица черная* (*Helleborus niger*) – ее корень, растертый в порошок, используется в качестве фимиама при совершении магических действий; так называемая *ведьминая трава* (*Cicuta lutetiana*), название которой говорит само за себя; *сонная одурь*, *белладонна* (*Atropa belladonna*) – ядовитое растение, оказывает сонное воздействие, вызывает веселый и приятный бред; все предметы при ее употреблении кажутся увеличивающимися в своих размерах: лужа воспринимается как озеро, соломина – как бревно. Несомненно, использовались и другие травы, производящие на тело и мозг наркотическое опьянение, погружающие человека в глубокий сон и вызывающие у него различные грезы и сновидения (Забылин М. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880. Ч. 2).

Состав мазей варьировался. Так, одна из мазей средневековых ведьм включала в себя пятиперстник, маслянистые выжимки семени дурмана, болиголова, цикуты, мака, ядовитого латука и волчьих ягод, а также кровь летучей мыши. Эффект от ее применения был приблизительно тот же. Один из ученых, Карл Кизеветтер, испытал на себе действие мазей ведьм: натирание этими снадобьями вызывало сны о быстром спиральном полете, возникало ощущение, будто его носило вихрем (Демонология эпохи Возрождения).

Все эти растения, и прежде всего тирлич, согласно народным верованиям, стимулируют временное отделение души от тела, вследствие чего оказывается возможным сам акт перевоплощения, т.е. обретение душой новой оболочки, и в зависимости от последней – полет по воздуху. Этому же способствует состояние сна, в которое впадают ведьмы, прежде чем отправиться на шабаш. Ведь именно сон, а особенно летаргический, известный в народе как обмирание, стимулирует временное отделение души от тела (смерть же закрепляет это отделение). О подобном комплексе религиозно-мифологических представлений славян свидетельствует, в частности, Иоанн экзарх болгарский: "тело свое хранит мертво, а летает орлом и ястребом, рыщет лютым зверем и ве-

прем диким, волком, летает змием...” (Никифоровский М. Русское язычество. СПб., 1875).

Что же касается непосредственно тирлича, то его сок ведьма использует и в других своих чарах. С помощью этой травы она способна не только усмирить гнев властей, но даже вызвать их расположение. Носящий же эту траву на шее вообще любим господами.

А между тем за использование чудесных трав, аналогичных тирличу, нередко приходилось расплачиваться жизнью. О подобном случае, едва не завершившемся трагически, сообщает В.Н. Татищев в своей “Истории Российской...”. Посетив в 1714 году фельдмаршала графа Шереметева в Лубнах, он оказался свидетелем осуждения на смерть за чародейство одной женщины. Несчастная под пытками сама повинилась в том, что превращалась в сороку и дым. На самом же деле она, по утверждению В.Н. Татищева, ничего, кроме трав, и не знала. Однако, как нетрудно догадаться, именно это знание ведуньи-зелейницы и послужило поводом для обвинения ее в оборотничестве и чародействе.

Петрозаводск



Топонимический словарь Центральной России*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Рель. Деревня в Ленинградской области, а также и на всем северо-западе России. В основе названия русское диалектное слово *рель* (*релка*, *рёлка*) “удлиненный невысокий вал, грива, гряда, холм, бугор на лугу, на пойме, на болоте” (Мурзаев. Словарь народных географических терминов). Слово *рель* (*релка*, *рёлка*) имеет и ряд других значений, основным признаком которых является что-либо возвышающееся, продолговатое (Даль. Т. IV). Слово довольно активное в топонимии северо-запада Центральной России: *Релка* (Ленинградская обл.); *Реля*, *Зарелье*, *Большая Рель* (Новгородская обл.) и др.

рельцы и рёлинцы
рельный, -ая, -ое

Рёпино. Курортный поселок в Ленинградской области. Более раннее название *Куоккала*. В современном – отражена фамилия великого русского художника И.Е. Репина (1844–1930), который здесь жил и работал с 1899 по 1930 год, здесь и похоронен. Фамилия *Репин* образована от прозвища *Репя*, известного в русских источниках с начала XVI в.: Репя Федор Семенович, 1524 г., Кострома (Веселовский. Ономастикон). Топоним *Куоккала* тоже имеет антропонимическое происхождение. Суффикс *-ла* в названиях финского происхождения указывает на имя владельца селения. В настоящее время на базе репинской усадьбы “Пенаты”, находящейся там же, создан филиал научно-исследовательского музея Академии художеств.

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6.

рёпинцы, рёпинец
рёпинский, -ая, -ое

Репьёвка. Село в Воронежской области, а также несколько сел и деревень в Мордовии. Возникло оно в конце XVII века, на протяжении всей истории имело несколько названий: *Петровка* и *Петропавловка* (XVIII в.) и, возможно, *Потудань* (XVII в.) по названию реки, на которой основано. Во второй половине XVIII века село было пожаловано князю Н.В. Репнину, на основании чего некоторые исследователи считают, что эта фамилия дала название селу, но в этом случае оно имело бы форму *Репнино*, *Репнинки* или *Репнинское*. В XIX веке за ним закрепилось название *Репьёвка*. Вероятно, в основе топонима слово *репей* “сорное, колючее растение с цепкими соцветиями” (Прохоров. Указ. соч.).

По сведениям исследователей (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР), мордовские топонимы антропонимического происхождения. Их владельцы, разных чинов военные люди, имели фамилию *Репьёв*. Фамилия (прозвище) *Репей*, *Репьёв* известна с XVI века: Константин Васильевич Репьев, 1539 г., Ростов; Третьяк Григорьевич Репьев, 1594 г. и др. (Веселовский. Ономастикон).

репьёвцы, репьёвец
репьёвский, -ая, -ое

Реутов (1940). Город в Московской области. Ученые не без основания связывают его название с общеславянской причастной формой *revot (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья), т.е. ревуший. Видимо, селение было основано на бурном, ревушем водотоке. Ср. расположенные поблизости речки *Ревёнка*, *Храпинка* и т.п. (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки). Апеллятив топонимически активен; гидронимы, образованные от него, известны в бассейне Днепра и Днестра. Не исключено, что топоним имеет антропонимическое происхождение по фамилии *Реутов*, известной в Подмоскowie: Реутов Аксен Иванович – дворцовый дьяк при дмитровском боярине, 1550 г. (Веселовский. Дьяки и подьячие XV–XVII вв.).

реутовцы, реутовец
реутовский, -ая, -ое

Ржев (1216). Город в Тверской области. Более ранние названия *Ржова*, *Ржева-Владимирская*. Наиболее реально связывать это название с апеллятивом *ржавец* (из *ржа*), имеющим ряд значений в русских диалектах: стоячее болото с застойной и ржавой водой, ручей из такого болота; источник, дающий воду с окислами железа; низкие болотистые поймы или озера с красно-бурой водой, что поддерживается другими формами названия – *Ржева*, *Ржевка*. Предположение о связи с *ржа* “болезнь растений, особенно колосового хлеба, который покрывается рыже-бурой пылью” или “рожь на корню, ржаная солома” безосновательно, т.к. при этом предположении невозможно объяснить принцип но-

минации. Топонимия этого типа обильна, особенно микротопонимия: *Ржева, Ржавка, Ржавец* и т.п. Не исключено антропонимическое происхождение – от личного мужского имени (прозвища) *Рыж* (Никонов. Краткий топонимический словарь).

ржéвцы, ржéвец, ржéвка

ржéвский, -ая, -ое

Родники (1918). Город в Ивановской области. Название прозрачно, в его основе нарицательное *родник* “водный источник, бьющий из земли; ключ”. Вероятно, селение было основано у водоема, изобиловавшего родниками. Слово *родник* и его синоним *ключ* довольно часто встречаются в топонимии России, так как наличие родников (ключей) было важным признаком того места, где селились люди; поселок *Родниковка*, село *Родничок*, поселок *Ключевск*, село и город *Ключи* и др.

родникóвцы, родникóвец

родникóвский, -ая, -ое

Рождéственское. Названия нескольких десятков сел на территории Центральной России. В настоящее время они сохранились в таких областях, как Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская и др. Все эти села получили свое название по церквям, возведенным в них в честь Рождества Иисуса Христа. В некоторых селах существуют храмы (и престольные праздники) в честь Рождества Богородицы, но они, как правило, не отражаются в названиях, как например в поселке Солотча Рязанской области, где есть храм и престольный праздник в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а село имеет другое название. Теоретически нельзя исключить того обстоятельства, что часть топонимов *Рождественское* происходит от названия храма в честь Пресвятой Богородицы.

Известна усеченная форма – *Рождествено* (в Ленинградской обл., Мордовии и др.), *Рождественка* и даже сложная – село *Рождественская Хава* (XVIII в.) в Воронежской области (*Хава* – название реки, на которой стоит село).

рождéственцы, рождéственец

рождéственский, -ая, -ое

Рóпша. Поселок в Ленинградской области. Первоначальное название *Храпша* по личному мужскому имени новгородца *Храп*, *Храпша*, известного в источниках XIV века. Изменение названия произошло под влиянием произношения его прибалтийско-финским населением, преобладавшим в этих местах с XV века вплоть до наших дней. Произошла “финнизация” топонима *Храпша* в *Ропша*, т.к. в речи местного населения звук *х* в начале слова исчез, *Ропша* приобрело официальную русскую форму *Ропша* (Попов. Следы времен минувших). А.И. Попов указывает и на влияние народной этимологии, так как созвучный финский глагол *ropsaa* имеет значение “хрустеть, шуршать; трещать”, т.е. обозначает действие звукового характера, как и храпеть.

ро́пшинцы, ро́пшинец

ро́пшинский, -ая, -ое

Рославль (1408)'. Город в Смоленской области. Основан на юге Смоленского края в середине XII века смоленским князем Ростиславом как крепость. Первоначальное название *Ростиславль* – по основателю города (Города России. М., 1994).

рославльча́не, рославльча́нин, рославльча́нка и рославец

ро́славльский, -ая, -ое

Рославы – *дегтярники*. Имеется в виду одно из древних и важных занятий жителей этих лесных мест – изготовление (выгонка) дегтя.

Саба. Река, левый приток Луги в Ленинградской области. Исследователи видят в основе этого гидронима эстонское *saba* “хвост”, “ответвление” (Кисловский. Знаете ли вы? Словарь географических названий Ленинградской области). Такая этимология поддерживается уже тем, что это приток Луги, узкий и глубокий, а к тому же имеющий извилистое русло. Имеет производные: река *Сабица*, приток Сабы и *Сабицкое* озеро, из которого вытекает Сабица.

Сабур-Мачкасы. Русское село в Мордовии. Название объясняют таким образом: раннее наименование его *Сабуровы Мачкасы* (1863 г.) и в первой части видят фамилию *Сабуров* (или прозвище *Сабур*). Эти антропонимы известны в источниках XV века и довольно часто встречаются как топонимы, например, села *Сабурово* под Москвой, *Сабуровка* в Воронежской области и др. Вторая часть топонима *Мачкасы* объясняется И.К. Инжеватовым (Топонимический словарь Мордовской АССР) как тюркское, восходящее к чувашскому личному мужскому имени *Мача* и *касы* “поселок, селение”.

сабурмачкаси́нцы

сабурмачкаси́нский, -ая, -ое

Сагуны. Село в Воронежской области. Возникло в конце XVII века. Официально упоминается в 1721 году как украинская слобода, хотя первые жители ее переселились не только из-под Киева, но и из-под Могилева, Курской и Орловской областей и др. мест (Прохоров. Вся Воронежская земля). В.А. Прохоров соотносит топоним *Сагуны* с диалектным *сага*, которое В.А. Даль толкует как “ложбина серпом, вероятно, от старицы, на плоских мысах степных речек горбом к реке; в разлив заливается; по иному объяснению: долгий песчаный мыс, коса”.

сагуно́вцы

сагуно́вский, -ая, -ое

Садовое. Село в Воронежской области. Возможно, история села начинается с 1686 года, когда сюда пришла группа служилых людей, затем в 1701 году пришли дворцовые крестьяне из Верхнего Поволжья. Первопоселенцы обосновались около озера Садового, по которому названо село (Прохоров. Указ. соч.).

Много сел и деревень в Центральной России именуются *Садовым*.

Название, видимо, дано по обильным садам, созданным жителями этих мест. Иногда топоним имеет форму *Садовка*.

садо́вцы, садо́вец
садо́вский, -ая, -ое

Салави́рь. Село в Нижегородской области. Находится в Салави́рьских лесах, которые являются продолжением Муромских лесов. Исследователи выводят это название из мордовского *салай* “грабеж, кража” и *ви́рь* “лес”. *Салави́рь* – село, расположенное в лесу, где грабят, обворовывают (Трубе. Как возникли географические названия Горьковской области).

салави́рьцы, салави́рец
салави́рский, -ая, -ое

Сана́ксырь. Русский поселок в Мордовии на реке Мокша. Другие названия: *Сана́ксарская Богороди́цкая Пу́стынь*, *Сенокса́рская Пу́стынь*, *Сенакса́рь*. Настоятелем местного монастыря (пустоши) был И.И. Ушаков – дядя известного адмирала флота Ф.Ф. Ушакова, похороненного в этих местах.

Название поселка выводят из сочетания *санав сара* “вязкая, топкая местность” (Инжеватов. Указ. соч.).

сана́ксырьцы, сана́ксырец
сана́ксырский, -ая, -ое

Сан́кт-Петербу́рг. Петербург (1703 г.). Центр Ленинградской области, второй после Москвы экономический, научный и культурный центр.

Основан Петром I первоначально как крепость с названием *Санкт-пите́рбург* в честь Святого Петра, небесного покровителя императора. Затем после возведения в ней собора в честь святых Петра и Павла, она получила название *Петропавловская*, а город – *Санкт-Пите́р-Бурх*. В документах 1703 года встречаются также названия *Пите́р-пол*, *Петрополь* (Города России. Энциклопедия). Под влиянием германо-язычного окружения Петра I название, созданное на немецкий манер, с трудом “входило” в русский язык, имело множество вариантов, встречающихся в письмах и деловых бумагах Петра I. Особенно трудно усваивались такие компоненты названия, как *Сан́кт* (*Сант*, *Сан*), *Пете́р* (*Пите́р*); *бур́г* (*бурх*, *бурк*): *Сантпите́рбург*, *Сан́кт-Пите́р-Бур́г*, *Сан́ктъпете́рьсбург*, *Сан́ктъ Пите́рбург* и другие (Поспелов. Имена городов: вчера и сегодня). Впоследствии составная часть одного из таких вариантов – *Пите́р* стала неофициальной, но очень распространенной разговорной формой названия города. Форма *Сан́ктъ-Пете́рбург* была официальной, а с начала первой мировой войны – в 1914 году была заменена русским вариантом – *Петрогра́д*. В 1924 году город был переименован в *Ленингра́д* в честь В.И. Ленина. В 1991 – возвращено исконное имя – *Сан́кт-Пете́рбург*.

В процессе обсуждения переименования города Ленинграда предла-

гались и другие названия: *Свято-Петроград, Невоград*. Более половины жителей высказались за название *Санкт-Петербург* и *Петербург*.

Санкт-Петербург – уникальный центр русской культуры, город музеев, парков, памятников архитектуры, театров и вузов. Здесь жили и работали выдающиеся русские писатели, художники, композиторы и отражали вдохновляющий их город в своих творениях.

санктпетербуржцы, санктпетербуржец, санктпетербурженка;
петербуржцы и петербургцы, петербуржец и петербургец, петербурженка и петербуржица, петербуржка;

питерцы, питерец и питерка;

устар. ленинградцы, ленинградец, ленинградка

санктпетербургский, -ая, -ое и санктпетербургский, -ая, -ое

петербургский, -ая, -ое, петербургский, -ая, -ое

питерский, -ая, -ое

устар. ленинградский, -ая, -ое

Питер – кормило, Москва – корм. Это значит, что Питер управляет Россией, а Москва ее кормит.

Питер – голова, Москва – сердце.

Хорош город Питер, да бока повытер, т.е. заставил потратить много денег.

Славна Москва калачами, Петербург – усачами. Это значит, что в Петербурге много красивых, представительных (с усами) мужчин, а в Москве радушно принимают и вкусно кормят.

Санское. Село в Рязанской области. Название, вероятно, дано по близлежащему озеру Сан (Сань), здесь же Сонской луг (XVI в.). По мнению местных краеведов, название озера связано с мордовским словом *сан* в значении “синий, синеватый”. Не исключено, что в его основе мордовское *сану* “вязкий” (Мокшанско-русский словарь. М., 1949).

санскóй, санские (о жителях села)

Сапожок. Город в Рязанской области. Известен с 1627 года как укрепление на оборонительной линии русского государства. Название, видимо, дано по реке Сапожок, которая на территории города впадает в Машку (Мошку – XVII в.), а та, в свою очередь, недалеко от города впадает в Пожву. Все эти речки упоминаются в Писцовых книгах Рязанского края XVII века. Возможно, речка Сапожок была названа так потому, что при впадении в Машку (Мошку) образовывала местность, участок земли, напоминающий сапожок. Э.М. Мурзаев приводил такое высказывание М. Маркова: “Сапожок и ножки – отделы земли, пашенной и луговой, впадающей в леса или, напротив того, лесами в луга, долины и языками между вод” (Мурзаев. Словарь народных географических терминов). Аналогичные топонимы известны в других местах на территории России – село *Сапожок* в Саратовской области, деревня *Сапожнята* в Кировской и др. Объяснение через речку Пожва не представляется убедительным.

сапожковцы, сапожковец

сапожковский, -ая, -ое

Сараи. Рабочий поселок в Рязанской области. Этимология названия прозрачна. В его основе тюркское слово *сарай*. Некоторое сомнение вызывает то обстоятельство, в каком значении оно употреблено. У русских это “нежилая постройка хозяйственного назначения (для хранения чего-л. или содержания скота)”. Слово известно в русском языке с 1550 года. С местонахождения этих сараев и началась история селения Сараи.

Не исключено, что это был *сарай* – в тюркском значении: “дом, дворец” или “гостиница”. Слово *сарай* активно в топонимии многих стран, особенно на Востоке, в Средней Азии. На территории России – на Урале, в Поволжье и в Центральной России, например село *Сараевка* в Курской обл. и др.

сараевцы, сараевец

сараевский, -ая, -ое

Саранск (1641). Город, столица Республики Мордовии. Основан как крепость на юго-восточных рубежах Русского государства и играл важную роль в отражении вражеских набегов. Название дано по реке Саранке, при впадении которой в Инсар основан город. Прежняя форма гидронима *Саранка* мордовское (эрзя) *Сарлей* “заболоченная, заросшая река”: *сара* “заболоченное, заосоченное место”; эрзя *лей* “река, ручей”, “овраг”. Элементы *-ан* и *-ск* – известные топоформанты (Инжеватов. Указ. соч.). Другие версии: *сар* (*сара*) “приток, ответвление” или *Сарлей* “приток, ручей” и др. *Саранка* – это русское “маленькая речка” из мордовского *Сарлей* “приток, ручей”, а *Инсар* “большой приток”, что соответствует в действительности величине этих рек.

Слово *сар* очень активно в топонимии современного и бывшего проживания финноязычных народов, то есть в Мордовии и соседних областях (Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской) и на северо-западе Центральной России, в частности, на территории бывшего проживания вепсов (Муллонен. Очерки вепсской топонимии).

саранцы, саранец

саранский, -ая, -ое

Саров. Город в Нижегородской области. Возник во второй половине XVII века под названием *Саровская пустынь*, т.е. небольшой монастырь, обитель в местности Саров. В основе топонима *Саров* местное мордовское слово *сар* в значении “заболоченное место или река”. Саровская пустынь была широко известна в царской России. Там совершал свой духовный подвиг известный православный святой преподобный Серафим, или *Серафим чудотворец*, известный как *Серафим Саровский*. В середине XX века вокруг разоренной пустыни вырос городок ядерных исследований, называвшийся до 1926 года *Кремлёвск* или *Арзамас-16* вместо запрещенного названия *Саров* (Поспелов. Указ. соч.).

сарбѡвцы, сарбѡвец
сарбѡвский, -ая, -ое

Сасово (1926). Город в Рязанской области. Название дано по реке Сасовке, на которой он основан, имеющей приток Сухая Сасовка. Происхождение гидронима неизвестно. Э.М. Мурзаев предположительно связывал его с тюркским апеллятивом *sassaz* “болото, заболоченный участок”, “мокрый луг”, “глина”. Ср. с турецким “тростник”, “камыш”, азербайджанским *saz* “болотное растение” (Мурзаев. Указ. соч.). Это вполне допустимое предположение, хотя при этом нельзя исключить того факта, что гидроним находится в ареале мордовской топонимии, но с отдельными татарскими топонимическими вкраплениями.

сасовцы, сасовец
сасовский, -ая, -ое

Сафѡново (1952). Город в Смоленской области, в прошлом деревня, а затем пристанционный поселок. В основе названия, вероятно, лежит фамилия *Сафонов*, принадлежавшая первопоселенцу или одному из ее владельцев.

сафѡновцы, сафѡновец, сафѡновка
сафѡновский, -ая, -ое

Свапа́. Река, правый приток Сеймы в Курской области (*Свопа* – по Книге Большому Чертежу. XVII в.). В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев считают сомнительным в фонетическом отношении сопоставления Розадовского с иранским *su-ār* “хорошая вода”, авестинским *hvorī*, хотя эта этимология поддерживается и тем фактом, что в настоящее время левый приток Свапы называется *Доброводка* (Никонов. Краткий топонимический словарь). С другой стороны, те же исследователи скептически относятся и к славянской этимологии Мошинского (*sver* “колебаться”) из-за иранского гидронимического контекста этого района. Название притока *Вонка* привлекается Топоровым и Трубачевым для определения исконности одной из существующих форм гидронима *Свапа* – *Свопа*. Они склоняются к гипотезе: формирование фонетического облика гидронима произошло в условиях ирано-балтийских контактов (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья). В современных исследованиях поддерживается мнение как об иранском происхождении гидронима (Орел В.Э. К вопросу о реликтах иранской гидронимии в бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга // Вопросы языкознания. 1986. № 5), так и о славянском. А.И. Яценко, по существу, развивает этимологию Мошинского – от общеславянского **sver*, выражающего понятие “дрожащего, колеблющегося движения” (Яценко А.И. Гидронимический словарь Посемья // Проблемы ономастики. Вологда, 1994).

Свѣнь (1950). Рабочий поселок в Брянской области. В основе названия, вероятно, русский диалектный апеллятив *свей*, известный в рязанских диалектах в значении “песок в колесах дороги, надутый ветром”

или “мелковолнистая ветровая рябь на поверхности оголенного, не закрепленного растительностью песка, образующая красивый изогнутый ряд параллельных линий” (Мурзаев. Указ. соч.). Ср. у С. Есенина *ветряный свей*.

свѣнцы, свѣнец

свѣнский, -ая, -ое

Светогорск (1940). Город в Ленинградской области. Получил название по тому, что поблизости от него находятся две ГЭС (10-я и 11-я), дающие электроэнергию Санкт-Петербургу и нескольким городам области: “город, дающий свет” (Кисловский. Указ. соч.)

светогóрцы, светогóрец, светогóрка

светогóрский, -ая, -ое

Продолжение следует



В СОТВОРЧЕСТВЕ С НАРОДОМ

Родословная одного стихотворения

Д.Н. МЕДРИШ.

доктор филологических наук

Связь известного стихотворения М.В. Исаковского “Враги сожгли родную хату...” с фольклорной традицией – факт общепризнанный. При этом, однако, многое остаётся непросьённым – начиная с вопроса о жанровой природе фольклорных предшественников. Между тем, народнопоэтическое мышление – это всегда мышление жанровое, и потому жанровая характеристика традиции, к которой обращается автор, нуждается в предельной точности – и не только ради необходимой определённости при установлении фольклорных первоисточников литературного текста, но и для более достоверной интерпретации самого стихотворения.

Из, по меньшей мере, двух фольклорных жанров, отозвавшихся в знаменитом послевоенном стихотворении Исаковского, один был назван сразу – причитания. Как известно, “мир причитаний – мир личных, внутренних отношений – с выходом в общенародные отношения (в пору общественных бедствий, войн)” (Орнатская Т.И. Причитания в русской фольклорной традиции. Автореф. ... канд. филол. наук. Л., 1969. С. 12). Однако, когда критик отмечает у Исаковского “взывание к мёртвому”, “близкое по форме к народным погребальным плачам” (Асанов Л. “... Выполнить волю твою” // Сверстники: Сб. молодых критиков. М., 1980. С. 272), то он ошибается. Обращение к мёртвому в стихотворении Исаковского действительно близко (и не только по форме, но и по содержанию) к народным плачам – но не к погребальным.

Поэт обращается к фольклорной ситуации, известной по тому виду причитаний, который менее других зафиксирован собирателями – и не по их вине. Одно дело – надгробный плач, совершаемый во время похорон, при всем народе, другое – необрядовое причитание, которое исследователь фольклора характеризует как “лирические импровизации, создаваемые либо по различным внешним поводам, либо без каких-либо определённых поводов – по настроению” (Орнатская Т.И. Причитания... С. 13). Такие причитания отличаются от погребальных хотя бы

уже потому, что произносятся, как правило, без свидетелей. Отсюда их предельная откровенность и в то же время – особая простота, свобода от множества тех обязательных стилистических условностей, которые всегда предусматриваются обрядом. В похоронных причитаниях человек в горе остаётся на людях, хотя может к ним и не обращаться – он как бы один, условно один. В необрядовом же плаче он действительно остаётся один, условность отпадает. Отсюда обращение к надгробному камню, чтобы люди не услышали и не осудили за жалобу:

И этот камешек со чиста поля не скатится,
И кручина во добры люди не расскажется...

(Барсов Е.В. Причитания Северного края. М., 1882. Ч. 2. С. 172–173; см. также: Демиденко Е.Л. Значение и функция общефольклорного образа камня // Русский фольклор. Л., 1987. Т. 24. С. 83–98). Это, как точно заметила Т.И. Орнатская, “слёзы вслух, но для себя” (Орнатская Т.И. Современные записи традиционного обрядового фольклора // Русский фольклор. М.-Л., 1964. Т. 9. С. 295).

Обстоятельства, связанные не с похоронным, а с необрядовым плачем, Исаковский передаёт с удивительной, почти документальной точностью. Чтобы убедиться в этом, обратимся к свидетельству фольклориста-собиранья: “Потрясённая горем, Кирилловна пошла в поле, обняла серый камень, хранивший память о сыне, и протяжным воплем огласила широкую путь-дорогу” (Базанов В.Г. За колючей проволокой. Петрозаводск, 1945. С. 53–54; у Исаковского – “серый камень гробовой”). Запись сделана в годы войны, когда люди на могилу близких попадали зачастую какое-то время спустя после похорон. Разумеется, не этнографическая достоверность была у поэта на первом плане, но и пренебрегать ею поэт не стал, придав ей характер достоверности исторической.

Помимо других функций, ситуация необрядового плача, будучи перенесённой в стихотворение, выполняет ещё одну, особую: ею мотивируется то обстоятельство, которое вызывало в критике немало недоразумений и нареканий. Речь идёт о мнимом одиночестве солдата Исаковского. Об “одиночестве” героя стихотворения писали многие: “Никто даже не встретил солдата” (Трегуб С. Литературная газета. 1946. 7 сент.); “Солдат совершенно одинок, ему не с кем разделить своё горе” (Литвин Э. Мастер советской песни // Русская советская поэзия и народное творчество. Сб. статей. Л., 1955. С. 232); “К сожалению, в данном случае М. Исаковский не сумел связать личную судьбу своего героя с судьбой народа” (Тарасенков А.К. Статьи о литературе: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 109). Критика воспитывает читателя, и вот уже поэту приходится откликаться на письмо, в котором читатель рекомендует автору, чтобы его герой “пошёл бы, например, в сельсовет, там бы с ним поговорили, дали бы совет...” (Исаковский М. Собр. соч.: В 4 т. М., 1969. Т. 4. С. 208).

Причитания – один из самых гибких жанров фольклора, они чутко реагируют на перемены в жизни. Поэт заимствует у фольклорного плача не только устоявшиеся, но и новые для этого жанра реалии, мотивы и образы, рождённые войной. Так, в фольклорных плачах военной поры, как заметил В.Г. Базанов, доминирующим становится мотив порушенного врагом “хоромного строеньица” (Базанов В.Г. За колючей проволокой. С. 41). Вот как начинается плач, записанный от Михаила Григорьевича Акинфина – единственный в сборнике мужской плач среди женских причитаний:

Я гляжу-смотрю, кручинная головушка,
Я на своё да на хоромное строеньице.
Уж я сяду тут с собой думу думати,
Как мне жить теперь да горе мыкати.
Как нет у меня да друга верного
Молодой жены да угла тёплого...

(Там же. С. 45–46).

Эта ситуация необрядового плача, каким он сложился в годы войны с фашизмом, у Исаковского обрисована в двух начальных стихах:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью...

В силу своей повышенной восприимчивости необрядовый фольклорный плач усваивает отдельные мотивы литературного происхождения; в свою очередь, литературное произведение подчас приобретает черты народного причитания. Как бы в ожидании стихотворения Исаковского, вскоре ставшего популярной песней, народ в годы Отечественной войны распевает, подвергнув фольклорной обработке, стихотворение Д.В. Вeneвитинова “Песнь грека”, которое и прежде приурочивалось к различным войнам (русско-турецкой, русско-японской, первой мировой) и в записи 1945 года – время создания стихотворения “Враги сожгли родную хату...” – начиналось словами: “Горит, горит село родное, / Горит отцовский большой дом”. Стремление запечатлеть события в их исторической достоверности сказывается в том, что в народной песне, восходящей к стихотворению Вeneвитинова, называются конкретные места боев: “Между Москвой и Ленинградом...” (Песни и романсы русских поэтов. М., 1965. С. 928; запись 1945 года. О бытовании аналогичных вариантов песни “Отец мой был природный пахарь” см.: Архангельская В.К. Песни Великой Отечественной войны в записях начала 80-х годов // Фольклор народов РСФСР: Межвуз. науч. сборник. Уфа, 1989. С. 86; Зубова П.П. Песни литературного типа в современном репертуаре // Фольклорные традиции современного села. М., 1990. С. 112).

Любопытно, что то же стремление к исторической конкретности,

когда дело касается наиболее памятных сражений, наблюдается в одновременно создававшихся в сходных обстоятельствах сербских плачах-тужбалицах (см.: Гусев В.Е. О песнях народноосвободительной борьбы // Глазами этнографов. М., 1982. С. 59). “Песнь грека”, сочинённая поэтом начала XIX века, трансформировалась по законам народного плача, каким он стал более века спустя. Так, идущий от народного плача мотив связывает произведения писателей, принадлежащих различным этапам литературного развития.

На первый взгляд, у Исаковского и средства, фольклору хорошо известные, и приёмы их использования как будто те же, что и в фольклоре. Однако у поэта прибавляется то незаметное “чуть-чуть”, которое изменяет уже сами эти средства и приёмы, расширяет сферу их применения, а в результате и роль их в поэтической системе оказывается новой и неожиданной. Так, среди средств, используемых фольклором, – тавтологический повтор (“путь-дорога”, “гуси-лебеди”) и постоянный эпитет (“добрый молодец”, “тёплый ветер”). В стихотворении Исаковского они заимствованы из фольклора как бы в своей навек застывшей форме: *горе – горькое, поле – широкое, камень – серый, ветер – тёплый*. Однако через “постоянство” эпитетов то и дело проступает нечто исторически конкретное. Этого не заметил критик А. Коваленков, когда, вступая в спор с воображаемым оппонентом, писал: «Ну зачем, скажет какой-нибудь строгий любитель формы, в данной строфе “тёплый ветер”? Нелокальная красивость. А в этой реалистической, правдивой детали есть тот самый нелитературный лиризм, который делает поэзию Исаковского несравнимой с цветистыми мудрствованиями многих наших “новаторов”» (Коваленков А. Хорошие, разные... Литературные портреты. М., 1966. С. 181). Насчёт “нелитературности” Исаковского – это не ново. А вот цитировать надо точно, поэтов – в особенности. У Исаковского не просто “тёплый ветер”, а – “тёплый летний ветер”. Вроде бы традиционный постоянный эпитет в обычном тавтологическом ряду (“тёплый” значит примерно то же, что и “летний”), который можно и укоротить. Но ведь это ветер лета сорок пятого, именно летом после четырёх лет войны возвращались домой победители. Критик, анализируя стихотворение, пренебрёг как раз теми “подробностями”, которые выводят поэтику стихотворения за рамки только фольклорно-песенной традиции.

Другая традиция, развиваемая Исаковским в стихотворении “Враги сожгли родную хату...”, – романсовая.

Относительно романсового начала в этом произведении существуют различные мнения. Одни полагают, что “трудно представить себе поэта, более далёкого от романа” (Петровский М. “Езда в остров любви”, или Что есть русский романс // Вопросы литературы. 1984. № 5. С. 72), чем Исаковский (одно исключение всё же допускается – “В прифронтовом лесу”), другие же, напротив, обнаруживают несом-

ненное влияние романса на поэта. Примечательно, что связь с романсом первые критики этого многострадального стихотворения отметили со знаком минус, в укор поэту: «"Враги сожгли родную хату..." – жестокий и печальный романс» (Литературная газета. 1946. 7 сент.); в стихах «зазвучали надрывные интонации так называемого "жестокого романса"» (Русская советская поэзия и народное творчество. С. 233).

Связь стихотворения с романсом действительно существует, но она далеко не прямолинейна и не однозначна. Подобно романсу, «Враги сожгли родную хату...» – это лирическое объяснение, монолог, точнее – односторонний диалог с характерными для романса оборотами, типа: «Не осуждай меня, Прасковья...» (ср. в популярных романсах: «Не упрекай меня за горечь этих песен», «Не вини меня, друг мой» и т.п.). Исаковский не боится романсовых общих мест и прибегает к словам и образам не только общедоступным, но и общеизвестным. А прикоснувшись к поэтике романса, не может не считаться с его прошлым, с «круговоротом романса» (М. Петровский), не может игнорировать опыт своих литературных предшественников, не встретиться с ними на общей для всего романсового жанра территории. И тогда обнаруживаются переклички самые неожиданные. Например, заключительные строфы двух стихотворений:

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

(М. Исаковский)

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

(А. Ахматова)

Примечательно: комментаторы этого стихотворения Ахматовой («На шее мелких чётков ряд...») находят в нём отголоски надсоновских строк, тоже финальных:

И ждёт, склонив лукавый взгляд,
Грозы сурового ответа, –
А на груди ещё дрожат
Цветы из моего букета!..

(“Закралась в угол мой тайком...”)

(См. об этом: Оцул Н. Рец. на “Подорожник” А. Ахматовой // Альманах цеха поэтов. Кн. 2. Пг., 1921. С. 68; Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов // Текст в тексте: Труды по знаковым системам. Т. 14. Тар-

ту, 1981. С. 72). Перед нами та самая романсовая “банальность”, которой каждый поэт волен распорядиться по-своему. Исаковскому близок такой поворот романсового сюжета, при котором “голос личной судьбы соседствует с голосом судьбы народной” (Русский романс. М., 1987. С. 28).

Таким образом, две связанные с песенным словом жанровые традиции питают стихотворение Исаковского “Враги сожгли родную хату...” – традиции необрядового плача и городского романса. Сближение этих двух жанров в устной традиции отмечено исследователями фольклора нового времени, когда «стали появляться так называемые “крестьянские романсы”» (Колпакова Н.П. Народная песня советской эпохи // Русский фольклор. Т. 9. М.-Л., 1964. С. 104). Этому сближению способствовало наличие в обоих исходных жанрах ряда близких элементов поэтики: монолог как основная речевая категория, требующая соответственного композиционного оформления, общие мотивы и реалии – разлука, смерть одного из любящих, слёзы как “эмоциональная реакция на случившееся с ними несчастье” (Зубкова Н.П. Городской романс в его отношении к сентиментальным романсом XVIII века // Творческая индивидуальность писателя и фольклор: Сб. науч. трудов. Элиста, 1985. С. 82). Примечательно, что едва ли не все элементы поэтической структуры стихотворения могут быть сведены либо только к первой, либо только ко второй жанровой традиции. Исаковский достиг полного их взаимопроникновения и на этой основе создал одно из самых новаторских произведений русской лирики.

Обе традиции проводятся и через авторскую речь, обрамляющую стихотворение. Начало его ведёт к необрядовому плачу:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.

Завершается стихотворение свойственным романсу эмоциональным всплеском:

И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Это видение автора, который способен не только сопереживать герою, но и взглянуть на него глазами благодарного современника, чтобы постичь всё величие совершённого им подвига и ощутить всю невосполнимость понесённых им утрат. Медаль светилась – и потому, что солдат, готовясь к празднику встречи, начистил её до блеска, и оттого, что раздвинулись рамки картины, и далеко во все концы света стало видно, и солдатская медаль светилась, как звезда. Здесь сходятся все образные ассоциации, здесь весомо всё: и то, что сожжённой родной деревенской хате из первого стиха отзывается в последнем спасённый

солдатом далёкий город Будапешт (именно “город Будапешт” – как в военной сводке) – чужая столица, и то, что начинается последняя фраза соединительным “и” (как у Ахматовой), а не разделительным “а” (как у Надсона).

Пройдут три десятилетия, и другой поэт – столь не похожий на Михаила Исаковского – Иосиф Бродский, как бы перекликаясь с ним, увидит другой аспект той же народной трагедии. В стихотворении “На смерть Жукова”, тоже своеобразном плаче, опирающемся и на традиции Г.Р. Державина, он напомним о тех, “кто в пехотном строю / Смело входили в чужие столицы, / Но возвращались в страхе в свою” (Бродский И. Назидание. Л., 1990. С. 114).

Державин, Всевитинов, Надсон, Ахматова, Исаковский, Бродский... Так через десятилетия и века перекликаются произведения поэтов, и вечно обновляющаяся фольклорная традиция выступает при этом как один из важнейших факторов, обеспечивающих непрерывность литературного процесса.

Волгоград

“Русская речь” начинает публикацию материалов из архива талантливое русского филолога, нашего современника Михаила Федоровича Мурьянова.

При его жизни вышло почти 200 работ (об этом свидетельствует только что появившаяся брошюра “Михаил Федорович Мурьянов” из серии “Труженики и подвижники XX века”). Но, как известно было друзьям и близким, огромное наследие: авторские работы (книги, статьи...), копии древних славянских рукописей – все это осталось неизданным, хотя, как правило, написанное им было тщательно выверено и, казалось бы, полностью подготовлено к печати. Что оставляло автора? Думается, стремление к совершенству. Строки А.С. Пушкина “Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам” (если понимать “грех” расширительно: как ошибки, несовершенство...) – всегда преследовали его. Прежде чем опубликовать даже совсем небольшую заметку, М.Ф. Мурьянов перерывал груды книг в поисках доказательства своей или опровержения чужой мысли, для обсуждения своих сомнений встречался со специалистами самых разных областей науки.

Начинал он с истории немецкой литературы, затем занимался папистикой, палеографией, связями Руси и Запада, русскими святыми, русско-византийскими отношениями, потом – удивительный поворот к Пушкину и его эпохе, рядом с Пушкиным – библейские мотивы, новый поворот – к старославянской и древнерусской лексике и понятиям, одновременно – статьи для Лермонтовской энциклопедии, и, наконец, важнейший для него и для науки момент – обращение к гимнаграфии, и это в то время, когда заниматься ею было небезопасно.

Требовательность высокого класса и всеядность эрудита в сочетании с необходимостью говорить “эзоповым языком” (дабы советские чиновники от науки из идеологических соображений не “выплюнули ребеночка”) приводила к тому, что его работы было очень трудно читать – слишком велики были колебания маятника его мысли и размах эрудиции. Его мысль уводила так далеко от первоначальной идеи, что некоторые из читателей не просто не понимали, но отказывались понимать его. О нем ходили самые разные, иногда нелестные слухи. Ему жилось трудно. Но всегда, во все времена его сего оставалось неизменным: “Нужно работать. Наступит день, когда попросят показать, что ты сделал. И одному будет что показать, а другому – нет”.



Что такое счастье?

М.Ф. МУРЬЯНОВ.

доктор филологических наук

Читатели нашего журнала, вероятно, не во всем согласны между собой в понимании сущности человеческого счастья. “Русская речь” также не в состоянии разрешить все проблемы, связанные с пониманием счастья, но журнал – как раз то место, где можно разобраться в объективных данных о самом слове *счастье*, о его происхождении и первоначальном, то есть буквальном смысле. Однако и это тоже не просто. Первая трудность – полное отсутствие *счастья* и его производных в языке древней Руси.

А.С. Пушкин, подбирая слова для прямой речи Бориса Годунова в одноименной трагедии с величайшим историческим тактом, не допуская анахронизмов, не мог знать, что сегодня в картотеке академического Словаря русского языка XI–XVII веков не окажется ни одного примера на *счастье*, который был бы старше воображаемого годуновского монолога 1603 года:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе.

.....

Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет.

Остается предположить, что люди древней Руси, зная счастье, называли его каким-то другим словом. Но каким, и где его искать? Здесь мы

сталкиваемся со второй трудностью – неразработанностью синонимии в словарях древнерусского языка, отсутствием специальных исторических словарей синонимов.

Единственный путь для преодоления обеих трудностей – обращение к тому языку, с которого было переведено подавляющее большинство наших старших текстов, то есть к греческому. Надо взять греческие названия счастья и проследить, какие слова им соответствуют в древнерусских переводах.

Древние греки, конечно же, знали, что такое счастье – одни имели его, другие писали или говорили о нем. Они сумели поднять понимание счастья на такую отметку философской высоты, которая никем впоследствии превзойдена не была. У древних греков для названия счастья было три основных синонима – *makariotes*, *eudaimonia*, *olbos*.

Первый применялся к богам, к их бессмертной жизни, не знающей забот и труда.

Третий вид счастья считался доступным для живых, хотя и далеко не всех людей, поскольку он предполагал в качестве своей неперменной части материальные блага, богатство. На территории нашей страны уцелел островок такого счастья, построенный древними греками, колонизовавшими северное Причерноморье, – город Оливия, чье название происходит от греческого *olbos*.

Ключевым для греческой философии стал синоним *eudaimonia*, “евдемония”. Этим словом выражалось внутреннее счастье человека, требующее не денег, а ума и чистого сердца, то есть того, что нужно человеку для искания и постижения истины. Евдемония, по учению древних греков, является конечной целью и высшим благом человека, в ней они полагали собственно смысл жизни, пусть до той или иной степени заполненной повседневными делами, но все же обязательно оставляющей в себе место для немого созерцания. Не обдумывания, а чистого созерцания. Как, к примеру, мы созерцаем прекрасный цветок в серебристых капельках росы. Или, если подняться на высшую точку, одну и ту же для всех пытавшихся понять таинственную сущность прекрасного:

Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

Пушкин. Евгений Онегин

Однако не из этого мира шел греческий язык в Киевскую Русь. Он шел из суровой Византии, посланцы которой были в черных одеяниях: до пят даже в самые погожие летние дни – они были греческими монахами, учившими добровольному отречению от земных благ, аскетизму, отрицанию всех ценностей, характерных для языческого образа жизни.

Слово *eudaimonia* в их языке отсутствовало, второй корень этого слова *-daimon-* “демон” приводил их в содрогание, поскольку говорил им о нечистой силе и ни о чем другом (на самом деле, в своем исходном смысле *eudaimonia* подразумевала, что данный человек имеет покровителем доброго духа, первый корень *eu-* как раз и означал, что дух этот добрый).

В противоположность тому, что мы называем счастьем, византийская культура располагала понятием, которое обозначалось словом *makariotes*. Первоучители славян Кирилл и Мефодий назначили для *makariotes* в качестве славянского соответствия *блаженство* – слово, которое, как видим, понадобилось и Пушкину. Оторваться от своего античного прошлого византийский греческий язык не мог даже посредством предания Платона церковной анафеме. Платоновое учение о счастье (диалог “Пир”) вошло в византийскую теологию, воротами явилась шестая заповедь блаженства: *блаженны чистые сердцем*. Чем эта чистота вознаграждается, как это связано с созерцательностью – выразил корнет лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов недозволенным стихотворением, нацарапанным с помощью печной сажки и спички на клочке оберточной бумаги на гауптвахте Главного штаба, где он отбывал наказание за стихотворение “Смерть Поэта” в феврале (!) 1837 года, пребывая в смутном сне – так в это время называли особое состояние ясновидения:

Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

В заключительных строках стихотворение вдруг переключается в религиозно-философский план. Свириная николаевская цензура не нашла, к чему придраться, и стихотворение увидело свет в 1840 году. Но обратим внимание на то, что становится видным только в контексте истории интересующего нас этического термина. Там, где византийско-славянская традиция подразумевала бы блаженство, поэт своеобразно

поставил счастье и заявил о своей способности его постигнуть, причем на земле.

Цензурная проверка религиозно-философской лирики, конечно, не могла быть более строгой, чем проверка самой Библии, да и разрешение на печать оформлялось по-разному: в первом случае – под личную ответственность цензора, а для Библии – “по благословению святейшего правительствующего Синода”. Для Библии оно было впервые дано на полный русский текст лишь в 1876 году, после того как было сломлено сопротивление арханстов, убежденных в том, что русский текст неизбежно вступит в противоречие с традиционным церковнославянским и ничего, кроме подрыва авторитета Библии, из этого не получится. В данном конкретном случае такое противоречие, действительно, возникло.

Существует Симфония к русской Библии, то есть полный указатель ее словоформ. В Симфонии значится, что существительное *счастье* встречается в Библии пять раз, прилагательное *счастливый* – четыре. Однако эти слова стоят в русском тексте, в церковнославянском их нет. Приведем характерный пример. В русском тексте: “...счастье мое унеслось, как облако” (Книга Иова). В церковнославянском: “Отиде... якоже облак спасение мое”, что в точности соответствует греческому оригиналу, где стоит *soteria*. Другой пример. В русском тексте стоит фраза “я буду счастлив” (Второзаконие). Но в церковнославянском – “Преподобно мне да боудет”, что в точности соответствует греческому *hosia moi gonoito*. Можно понять авторов русского текста, они обладали чувством стиля, стремились строить гладкие фразы на хорошем, естественном языке, без неуклюжих тяжеловесностей буквального перевода. Но в данном случае (и в ряде других) они поступили филологически неосмотрительно, играя словами, всего историко-культурного значения которых не понимали.

В русском языке наших дней, если оценивать ситуацию статистически, позиции *блаженства* сильно потеснились, *счастье* наступает. Что же это за слово *счастье*, каково его собственное прошлое? Для Даля, с его непревзойденным чувством языка, на первом месте в ряду значений слова *счастье* стояли “случайность, желанная неожиданность: талант, удача, успех”, и лишь на втором месте – “благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь без горя, смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и доводит человека, по убеждениям, вкусам и привычкам его” (Толковый словарь живого великорусского языка). Иначе говоря, исходное значение слова *счастье* – это такое удовлетворение желаний и устремлений, которое произошло не по заслугам и достоинству ставшего счастливым, а по прихоти слепого случая. Пример: знать к экзамену ответы только на один билет и вытянуть именно его. Этимология так и объясняет: праславянское *същєstbje состоит из двух компонен-

тов – префикса **съ-*, сопоставимого с древнеиндийским *su* “хороший”, и корня **čestъ* “часть”; сложное слово имеет, следовательно, значение “хороший удел” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка).

В этой этимологии не все убедительно. По данным картотеки Словаря XI–XVII вв. в Институте русского языка АН СССР [теперь Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. – *Ред.*], в XVI веке Максим Грек понимал *счастье* как эквивалент к греческому “встреча, случай, судьба (как хорошая, так и дурная)”. “В памятнике XI века – Пандектах Антиоха (рукопись Государственного исторического музея в Москве) в существительном *сѣчастъникъ* префикс тоже не несет положительного значения, а все слово является переводом греческого *symmetochos* “сопричастник” (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка). Если не так давно считалось, что и беспрефиксное **čestъ* может означать “счастье, удачу” уже в языке Даниила Заточника (XII–XIII вв. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 4. М., 1977), то сейчас стало ясным, что у этого автора *часть* – всего лишь “участь, доля”, с возможным поворотом в отрицательное, засвидетельствованным в выражении *часть моя горкая* (Лексика и фразеология “Моления” Даниила Заточника. Л., 1981).

Кстати сказать, диапазон значений слова *доля* частично перекрывает значение слова *счастье*. Вспомним строки Лермонтова о солдатах Бородинского сражения:

Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...

А в сербском языке название счастья – *срећа* производно от глагола *сретати* “встречать”, этот выбор тоже говорит об ощущении случайности счастья.

Таким образом, праславянское слово **съčestъ*, реконструированное М. Фасмером, если и существовало, то значение имело вовсе не то, какое присуще современному русскому *счастье*, а скорее относящееся к слову *соучастие*. О.Н. Трубачев подчеркнул, что *čestъ* – “слав. новообразование, полные лексемные соответствия за пределами слав. языков для него неизвестны” (Этимологический словарь славянских языков. Вып. 4. М., 1977).

Тем интереснее обратить внимание на следующее совпадение, вряд ли случайное, но в лингвистической литературе донныне не отмеченное. На противоположном конце Европы, в старофранцузском языке, чьи контакты с языком Киевской Руси были минимальными и ограничивались единичными лексическими заимствованиями из области не интеллектуальных абстракций, а товарных наименований, имеются слова *heure* и *heur*, фонетически похожие между собой даже больше, чем славянские *час* и *часть*.

Heure происходит от латинского *hora* и означает “час”. *Heur* проис-

ходит от латинского *augurium* “гадание, прорицание, предзнаменование участи” и является корнем французских слов *heureux* “счастливый”, *bonheur* “счастье”.

Чем объяснить совпадения? Они объяснимы независимой от внешних влияний, самозарождающейся склонностью людей с донаучным мышлением связывать интерес к грядущему с верой в судьбу, в удачу, в предсказания жрецов-авгуров, знавших одним им ведомые приметы будущего и правильные толкования. Или они делали вид, будто знают, а на самом деле ничего не знали? Да, если судить по тому, что выражение *улыбка авгуров*, означающее, что посвященные молча переглядываются и смеются над доверчивой толпой, дошло до нас от самой античности.

Публикация И.В. Мурьяновой



О “ПРИЗРАЧНЫХ” СЛОВАХ

И.Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук

“Русская речь” уже неоднократно писала о “призрачных” словах, возникших при неправильном прочтении древнерусских текстов их переписчиками и издателями.

Как правило, “призрачные” слова долго остаются в словарях, например, *итолок*, *бъдын* или *клюще*, *ключь* (подробно о них см. соответственно: Русская речь. 1973. № 1; 1978. № 6; 1994. № 3). Слово *итолок* уже было исключено из “Словаря русского языка XI–XVII вв.”, на первый взгляд, убедительно и закономерно, как явно ошибочное и “призрачное”. Но ведь оно по-прежнему фигурирует во всех изданиях летописей, и читатель не встретит его в новом словаре, а найдет в словаре старом, правда, без разъяснения.

Такие слова должны также включаться в исторические словари с разъяснением их “призрачности” и ссылкой на исследования, в которых это доказано. В этом случае исторические словари станут хорошим путеводителем по изданиям старинных текстов и помогут избежать дальнейшего повторения старых ошибок.

В документе от 20 марта 1556 года под издательским названием “Тарханная грамота Кирилло-Белозерскому монастырю” обратило на себя внимание редкое слово *полпаль*, которое не встречалось ни в одном русском словаре до 1847 года, не было известно по другим текстам и впервые появилось в “Актах исторических” в 1841 году: “(...) Кирил игумен купил в дом Пречистые у Серка ниву Волковскую с вылазы, с Серкова огорода на враг к болоту, дал сорок бел да полпаль пополнка...” (Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. I. 1334–1598).

Шесть лет спустя после публикации этого документа загадочное *полпаль* было включено в академический четырехтомный “Словарь церковно-славянского и русского языка”, составленный Вторым отделением имп. Академии наук (СПб., 1847. Т. III) как самостоятельная словарная статья с краткой цитатой из грамоты 1556 года. “**Пѡлпаль**, и, с.ж. *Стар.* О мехах: испорченный до половины от подпари; вылезший от сырости. *Дал сорок бел да полпаль пополнка.* Акты Ист. I. 301”.

Сейчас уже трудно определить, какими соображениями руководствовались в этом Словаре его составители и редакторы третьего тома академики М.Е. Лобанов и Я.И. Бередников при установлении дефиниции (толковании слова). Уже следующий словарь “Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам” И.И. Срезневского (1812–1880), изданный посмертно (СПб., 1895. Т. II), мог опираться на материалы русской академической диалектной лексикографии в виде “Дополнения к Опыту областного великорусского словаря”, изданного Академией наук (СПб., 1858), где “**Пѡдполь**, и, с.ж. Беличья шкурка с черною мездрою. С и б и р. У р а л.” (Кривошапкин М.Ф. Енисейской округ и его жизнь. СПб., 1865. Т. 2: *подпаль* – особый сорт белки). Позднее В.И. Даль сделал небольшие уточнения в написании и в дефиницию: “*Пѡдпаль* ж. *сиб.* плохая белка с черною мездрою, раннего промысла, недошлая” (Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1865. Т. III). В дальнейшем этот диалектизм использовался всеми в форме, “кодифицированной” В.И. Далем.

В “Материалах” И.И. Срезневского слово приведено в реконструированной форме *полъпаль* и отождествлено с сибирским диалектизмом *подполь*, но семантика дана несколько шире. Иллюстративный пример остался тот же самый: “**Полъпаль** – подпаль, шкурка плохого достоинства: – Дал сорок бел да полпаль пополнка. *Тарх. гр. Кир.-Белоз. мон. 1556*” (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1895. Т. II).

Для отождествления слов *полпаль* и *подпаль* имеются некоторые словообразовательные основания в виде варьирования слов с приставкой *под-* и с первым компонентом сложных слов на *пол-*.

Приставка *под-* в некоторых случаях выражает то же самое значение, что и первая часть *пол(у)-* “половина” в составе сложных слов, как,

например, в воинском звании *подполковник*, которое выступало и в вариантах *полковник* или *полуполковник*.

В сказе Н.С. Лескова “Левша” (1881) реальное слово *подкипер* фигурирует в легко узнаваемом, но фактически неупотребительном *полкипере*.

Общезвестному *подсвинок* в свердловских говорах соответствует *полсвинок* “поросенок по второму году” (Словарь русских народных говоров. СПб., 1995. Вып. 29).

Издающийся сейчас “Словарь русского языка XI–XVII вв.” (М., 1990. Вып. 16) хотя и сохранил слово *полпаль* с той же самой цитатой по тому же самому изданию, но выразил сомнение в семантике при отсылке к реальному слову *подпаль*: “**Полпаль**, ж. То же, что **подпаль** (?). Кирил игумен купил в дом Пречистые у Серка ниву Волковскую с вылазы... дал сорок бел да полпаль пополнка. АИ I, 301. 1556 г.”

Однако статья *подпаль* (с дефиницией) своим иллюстративным материалом заставляет сомневаться в правомерности формы *полпаль*, а не в ее семантике: “**Подпаль** ж. Шкурка молодой или не вылинявшей до конца белки. Купил есмь у Серка ниву Волковскую... А дал есми на ней сорок бел, да подпаль пополонка. АСВР II, 19. XVI в. 1397–1427 гг. 40 горносталей. 3600 белки да подпалей 1200 векош. Там. кн. I, 27. 1634 г. А с ним пошло мяжкой рухляди... сто восемьдесят белок подпалеи, лоскутишко собол(ь)е. Якут.а, карт. 3, № 15, сст. 4. 1641 г. – Ср. **полпаль**” (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 16).

Дело в том, что в качестве первоисточника первой иллюстративной цитаты при слове *подпаль* выступает “Купчая докладная Белоз. м-ря иг. Кирилла на Волковскую ниву, купленную у Серка” (она пересказывается в уже упомянутой “Тарханной грамоте”), где вместо сомнительной формы *полпаль* читается форма *подпаль*: “Се яз, игумен Кирило, купил есмь у Серка ниву Волковскую с вымла с Серкова огорода из врага к болоту. А дал есмы на ней сорок бел да подпаль пополнка” (Акты Социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1958. Т. II).

Эта купчая включена в несколько трансформированном виде в состав Тарханной грамоты 1556 года (пересказана в ней) как документ, на основе которого монастырь владел Волковской нивой со времен игуменства преподобного Кирилла Белозерского (1390–1427).

Такое же чтение обнаруживается и в более раннем издании этой купчей: “Се яз, игумен Кирило, купил есми у Серка ниву волковскую с вымло с серкова огорода на враг к болоту. А дал есми на ней сорок бел, да подпол пополнка” (Дебольский Н.Н. Изъ актовъ и грамотъ Кирилло-Белозерскаго монастыря. СПб., 1900).

Правда, археографическое название Тарханной грамоты 1556 года в последующих изданиях менялось, но суть дела оставалась прежней при меняющейся орфографии изданий: “1) ... Кирилл игумен купил в дом

Пречистые у Серка ниву Волковскую с вымла с Серкова огорода на враг к болоту, дал сорок бел да подпаль пополника ..." (Архив П.М. Строева // Русская историческая библиотека. Пг., 1915. Т. XXXII: Жалованная грамота царя Ивана Васильевича Кирилло-Белозерскому монастырю на его вотчины 20 марта 1556 года). "2) ... Кирилл игумен купил в дом Пречистые у Серка ниву Волковскую с вымла с Серкова огорода на враг к болоту, дал сорок бел, да подпаль пополника ..." (Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1958. Т. II: Жалованная ободная несудимая грамота ц. и в.кн. Ив. Васильевича Грозного Кир.-Белоз. м-ря иг. Матфею на все владения м-ря, приобретенные им в XV и первой половине XVI в., 20 марта 1556 г.).

Итак, в результате неправильного прочтения текста Тарханной грамоты 1556 года в "Актах исторических" Издания 1841 года, возникло "призрачное" слово *полпаль*, исправленное почти три четверти века спустя в "Архиве П.М. Строева" (Пг., 1915. Т. I), но это исправление не означало ликвидации "слова-призрака", которое, попав в три академических словаря, продолжает в них жить и вводить в заблуждение до нашего времени.

В качестве примера запоздалой зависимости от лексикографов можно указать на исследование С.А. Гурулева о названиях животных Сибири, в котором в одном ряду с реальным словом *подпаль* фигурирует и его "призрачный" двойник *полпаль*: "П о д п а л ь – невыходная белка, шкурка которой имеет красноватый оттенок. Название образовано от рус. *пал* "лесной пожар". В древнерусском языке существовали названия *подпаль* и *полпаль* в значении "шкурка молодой или не вылинявшей до конца белки". Название *подпаль* в Сибири фиксируется в первой половине XVII в.: "А с ним пошло мяхкой рухляди... сто восемьдесят белок подпалей, лоскутишко соболе (1641 г.)" (Гурулев С.А. Звери и рыбы Сибири: происхождение названий. Изд-во Иркутского университета, 1992).

Историю призрачного гапакса (слова или оборота, употребленных один раз для данного случая) *полпаль*, который оказался обыкновенным словом *подпаль*, на этом можно было бы и закончить: слово *полпаль* должно быть исключено из русских исторических словарей, будучи реальным словом *подпаль*.

Однако осталась неосвещенной еще одна линия – сомнение составителей "Словаря русского языка XI–XVII вв." в правильности семантического отождествления гапакса *полпаль* с мехообозначением *подпаль*, хотя их мотивы в словаре не изложены по причине лексикографического лаконизма, обращающегося невнятиостью и нечеткостью позиции составителей.

Поддержать составителей этого словаря и повести поиски другой семантики заставила меня некоторая сомнительность в качестве *попол-*

нка (*пополнки?*), т.е. “придачи к плате за покупку; добавления, дополнения” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1991. Вып. 17), ничего не стоящей шкурки – *подпали* без указания на число – вероятно, одной единственной?

Интересные соображения о первоначальном содержании термина *пополнок*, *пополонок*, *пополнка* давал Б.А. Ларин, не приводя, впрочем, конкретных примеров и несколько удревяняя время его употребления: «Часто в грамотах, описывающих сделки, мы встречаем слово *пополонок* – “придача, восполнение”. В разных концах Киевской Руси, и в Новгороде, и на Двине, при продаже указывалось, что за землю будет уплачено столько-то кун и еще *пополонок*. Юристы обратили внимание на то, что в старших юридических памятниках *пополонок* употреблялся только при продаже земли, причем иногда он больше самой платежной суммы. Первоначально в качестве *пополнка* давались конь, корова, позже *пополонок* становился все меньше и меньше (курица, утка, голубь), затем прибавляется за *пополонок* 5 алтын. Это отражает уже мертвый обычай.

Пополонок – юридический свидетель перехода от меновой торговли (вещь за вещь) к денежной. И то, что за землю давали всегда живой скот, указывает на древний период, когда скотоводство играло основную роль в народном хозяйстве, имело большее значение, чем земля. К этой поре относится обозначение денег словом *скот* (лат. *pesus* – *ресупиа*). (Ср. в “Повести временных лет”: *начаша скот собирати*; в более поздних списках *дань собирати*). Не может быть сомнения в том, что в XI–XII вв. *пополонок* имел не условный, а вполне конкретный смысл, который с течением времени утрачивается, становится юридической формулой, почти ничего не значащей» (Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). М., 1975).

Сомнения усиливаются при сопоставлении с *пополнками* в других кулчих грамотах Кирилло-Белозерского монастыря за 1390–1427 годы, где обычно в качестве *пополнка* выступали овца, иногда свинья или корова (Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1958. т. II), которые никак не могут быть сравнимы с неполноценной шкуркой-*подпалью*.

В русских народных говорах Сибири в середине XIX века было записано весьма подходящее слово, обозначающее нечто близкое по значимости к *пополнку*-овце: “**Подпаль**, и, с.ж. Молодой, недорослый и обыкновенно черный бык. И р к у т.” (Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852).

Впрочем, В.И. Даль сомневался в чем-то в связи с этим словом, получившим у него ошибочную помету о церковной принадлежности: “**Подпаль**? *црк.* черный бык, бычок” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, М., 1865. Ч. III).

В сводно-академическом диалектном словаре это слово дано без

территориальной приуроченности и с отредактированной зачем-то дефиницией, но без загадочного вопроса (как у В.И. Даля): “молодой малорослый бычок (обычно черный)” (Словарь русских народных говоров. СПб., 1994. Вып. 23).

В итоге следует сказать, что призрачное слово *полпаль* обрело свой истинный облик *подпаль*, но полностью не слилось с ним, поскольку отличается от него семантически: оно составило новое значение для прежде считавшегося однозначным древнерусского слова *подпаль* – “черный бычок”.

Впрочем, настаивать на том, что в рассматриваемых здесь документах слово *подпаль* имеет значение “черный бычок” особенно не приходится, поскольку на суть *пополнка* существует другая точка зрения, высказанная А.Б. Страховым в редакторском примечании к первой, более полной публикации данного материала (*Palaeoslavica*. 1998. VI. С. 273–278). А.Б. Страхов считает, что *пополонок* имел чисто символическое значение: как дань коммерческой магии и состоял в ритуальном возврате продавцом незначительной части полученных от покупателя денег, чтобы они как бы восполнили затраты последнего. В таком случае чисто мифический *пополнок* мог выражаться в шкурке белки.



ЧЕМПИОН. РИНГ

М.Н. ЛУКАШЕВ

В письме к А.М. Горькому А.П. Чехов говорил о стилистических особенностях некоторых слов и выражений: “Я мирюсь в описаниях с “коллежским ассессором” и с “капитаном второго ранга”, но “флирт” и “чемпион” возбуждают (когда они в описаниях) во мне отвращение” (3 янв. 1899 г. Ялта).

И *флирт*, и *чемпион* прочно вошли в нашу речь, стали совершенно полными.

Остановимся подробнее на слове *чемпион*.

В английском языке, из которого пришло к нам это слово, оно, кроме своего чисто спортивного смысла, означает также “защитник”, а в качестве глагола – “защитять, бороться за что-либо”. Таким образом, *чемпион* – защищающий свое звание сильнейшего.

Если заглянуть в самое первое из опубликованных сообщений о выступлении сильнейшего боксера Британии, помещенное в английской газете “Протестантский Меркурий” в 1681 году, то слова *чемпион* мы там еще не найдем. Автор говорит о боксере, “наиболее искусном в этом упражнении [то есть – в боксе. – М.Л.] во всей Англии”. Но уже по прошествии четырех десятилетий – в 1719 году, когда могучий Джеймс Фиг отстоял свою славу сильнейшего во всех поединках с соперниками на рапирах, тесаках, дубинах и на кулаках, его стали единодушно именовать *чемпионом*. Так он и вошел в историю спорта как первый официальный чемпион страны, а в английской версии – даже чемпион мира, так как британцы были склонны явно преувеличивать достижения своих спортивных кумиров.

В русской практике потребность в этом слове впервые возникла, пожалуй, уже в первой половине того же XVIII века. Андрей Нартов, выдающийся механик и изобретатель, в своих записках о Петре I рассказал, как в устроенном царем единоборстве русский гренадер, умелый кулачный боец, одолел лондонского чемпиона. Нартов сам бывал в Англии и мог даже слышать это слово, возможно, уже вошедшее в английский обиход. Однако британского чемпиона он именует

на русский лад: *первый и славный боец, первый витязь, лондонский силач, удалец*.

Да и по прошествии полутора столетий после этого *чемпион* все еще чувствует себя не очень уверенно даже на страницах спортивной русской периодики. В первом из наших спортивных журналов – “Охотнике” (1877–1878 годы) – то и дело встречаются заменяющие это непривычное иностранное слово русские выражения: *всемирный боксер, король боксеров*. Но в связи с растущим интересом к спорту вообще, и к велосипедному – в особенности, слово *чемпион* начинает робко приживаться и в русской практике. Тем не менее, во второй половине 90-х годов XIX века оно все еще остается не очень-то привычным. Наряду с ним частенько употребляются его русские эквиваленты.

“Грандиозные” велосипедные состязания в петербургском Михайловском манеже проводились не на звание чемпиона, а на титул “первого ездока Севера России на 1895 год”. Точно так же как и “большое состязание в атлетике на звание первого, второго и третьего атлета Москвы на 1896 год”. Сами же чемпионы именуются: *первый конькобежец России* или *сильнейший атлет России* на 1897 год. И все это происходило именно в то время, к которому относилось письмо Чехова.

Как видим, тогда даже спортивные круги еще не достаточно усвоили новое слово. А ведь Чехов имел в виду только художественную литературу и специально дважды подчеркнул это “в описаниях”. Зная, как еще слабо был развит российский спорт в конце прошлого века, не трудно понять, что употребление слова *чемпион* в его прямом значении для писателей того времени было совершенно нереально. Произведений, посвященных спорту, тогда просто-напросто еще не было, да и не могло быть. Поэтому существовала возможность использовать это слово лишь в его переносном смысле: первый, лучший в каком-либо деле, превосходящий всех других. Но в таком случае совершенно очевидно, каким чужеродным и манерным должен был выглядеть в художественной литературе *чемпион*, не успевший привиться даже среди самих спортсменов. И, конечно, этого не мог не чувствовать выдающийся мастер нашей литературы, обладавший безошибочно тонким вкусом.

В последующие годы постепенно росшая практика спортсменов-любителей начала утверждать в правах иностранное слово, для замены которого было необходимо несколько русских. Такой процесс потребовал бы, пожалуй, еще немало времени, если бы ему на помощь не пришел величайший спортивно-коммерческий аттракцион начала нынешнего века – ловко театрализованные цирковые чемпионаты французской борьбы (ныне она называется *греко-римской*). Не только в Петербурге и Москве, но и во всех губернских, а то и в уездных городах лихо разыгрывались всевозможные липовые чемпионские титулы до

“чемпиона мира” включительно, а на торжественные парады участников перед началом борьбы выходили импозантнейшие “чемпионы” всех стран и континентов. Огромная популярность цирковых чемпионов довольно быстро сделала слово *чемпион* употребительным и значительно более привычным. Но окончательно и прочно оно вошло в наш язык уже в годы советской власти, когда спорт получил невиданное прежде развитие. Был, правда, в двадцатые годы период, когда снова стали говорить и писать не *чемпион*, а *победитель соревнований*, *лучший стрелок* и т.п. Причиной было мнение неких специалистов, что якобы “чемпионство и рекордсменство” вредит пролетарской физической культуре и несовместимо с ней.

Однако эта болезнь роста была скоро преодолена. И сегодня мы уверенно пользуемся не только прямым, но и переносным смыслом слова, против которого так решительно протестовал Чехов сто лет назад.

Ринг

Известный английский писатель Бернард Шоу в одном из своих произведений описал следующий эпизод. Девушка приходит на боксерский матч и там впервые в жизни видит боксерский ринг, между ней и ее спутником происходит такой диалог:

– Что это? – спросила Лидия.

– Ринг!

– Но почему он квадратный?

– Из круга получился квадрат, но называют его по-прежнему ...

Не знающий английского языка читатель едва ли поймет, почему никогда прежде не видя ринга, девушка, тем не менее, была удивлена его квадратной формой, словно бы ожидала увидеть что-то совсем иное. И почему ее спутник утверждал, что ринг когда-то имел не какую-либо иную, а именно круглую форму?

Дело в том, что английское слово *ринг* в своем бытовом, не боксерском, употреблении – означает “кольцо, круг, обруч”. Как раз в этом смысле и воспринимает Лидия услышанное от собеседника слово.

Стоит сказать, что в этом первоначальном смысле используют слово *ринг* английские легкоатлеты, называя так круг для метания диска, молота или толкания ядра.

Но почему же боевая боксерская арена получила такое явно противоречащее ее форме название? И каким образом у этого “круга” могли вырасти вдруг углы?

Если говорить о специальном боксерском помосте, то он сразу же, с момента своего создания был квадратным. Но вот в те давние времена, когда такого специального сооружения еще не существовало, боксеры вели бой просто на ровной земляной или травяной площадке в окруже-

нии зрителей. Именно зрители образовывали этот довольно правильный круг – *ринг* – так, чтобы каждый из них получил отличную возможность наблюдать за боем. Это естественное расположение зрителей было закономерностью в любых условиях. Вспомните русскую былинку: “Начали ребята бороться, а в ином кругу в кулаки биться”.

В боксе так было до первых десятилетий XVIII века, когда первый официальный чемпион Британии Джеймс Фиг приобрел большую популярность не только среди народа, но и при королевском дворе. Он получил возможность открыть своеобразную боксерскую школу со зрительным залом – “Амфитеатр Фига”, – где проходили состязания сильнейших боксеров страны. Для того чтобы бойцов могли видеть все присутствующие, пришлось соорудить специальный, довольно высокий дощатый помост. А для предохранения бойцов от падения с него в пылу борьбы поставили прочные деревянные перила, жесткий прообраз нынешних канатов. Разумеется, и помосту, и перилам придали не круглую, а более удобную при постройке квадратную форму.

Интересно отметить, что этот спортивный термин, совершенно не соответствовавший обозначаемому предмету, вводил в заблуждение даже наших любителей бокса. Михаил Кистер, автор первого на русском языке руководства по боксу – “Английский бокс” – в 1894 году английское слово *ринг* перевел дословно: как “круг”. И даже через два десятилетия после этого в спортивной печати еще можно было встретить: судья *в круге* вместо судья *на ринге*, судья *в ринге*.

Говоря о ринге, этом важном предмете боксерского инвентаря, нельзя, конечно, не упомянуть и о самих словах *бокс*, *боксовать*. Прежде чем они прижились в русском языке и окончательно определилась их форма, должно было пройти немало времени. Первые известные свидетельства русских очевидцев о боксе относятся к XVIII веку, когда в результате петровских реформ резко возросли связи с Западной Европой. Однако никто из них не употреблял слов *бокс* и *боксовать*, используя для этого описательные выражения *кулачный бой* или *биться на кулачках*. Но в этом случае стиралась разница между русским кулачным боем и боксом. Они как бы отождествлялись, хотя в действительности имели существенные отличия.

Стоит сказать, что первым, кто сделал попытку не только ввести в русский обиход это слово, но и привести в соответствие с нормами нашего языка, был не кто иной, как А.С. Пушкин. Он знал приемы бокса и даже обучил им сына своего старого друга П.А. Вяземского.

По всем правилам русского языка А.С. Пушкин образовал от английского чисто русское *боксовать*. (Показательно, что именно такую просторечную форму слова *боксовать* мне приходилось слышать даже еще в предвоенные годы.) К сожалению, пушкинский вариант этого глагола так и остался погребенным в черновиках поэта (Пушкин А.С. Разговор о критике. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1977–1979. Т. VII. С. 71).

В.И. Даль в своем Толковом словаре зафиксировал еще один просторечный вариант *бо́ксать*. Здесь ударение ставилось уже на первом слоге на английский манер. Так говорили в наших портовых городах, где общение с английскими и американскими матросами, знавшими бокс, не всегда имело мирный характер.

Однако в литературной речи еще в тридцатые годы прошлого века, по аналогии с другими заимствованными словами (*маришировать* и др.) был образован глагол *боксировать*. Он и закрепился в нашем языке. Тем не менее долгое время этот глагол не был общеизвестным, и на страницах нашей печати можно было встретить и английское написание *to box* и даже такие противостественные сочетания: *борьба на боксах*, *бой на боксах*.



Определяем синтаксическую функцию инфинитива

О.М. ЧУПАШЕВА,
кандидат филологических наук

Инфинитив – начальная форма глагола – очень подвижен в синтаксическом отношении: он может занимать в предложении различные позиции. Не всегда легко установить синтаксическую функцию зависимого инфинитива: она определяется рядом условий. Анализу этих условий и способов определения синтаксической функции зависимой неопределенной формы глагола и посвящена данная статья.

На синтаксическую функцию инфинитива влияют его связи в предложении с теми или иными частями речи. Он может относиться к личным глаголам, к словам категории состояния (то есть к наречиям в функции сказуемого в безличных предложениях), к существительным. Чаще всего инфинитив связан с личным глаголом, но не всегда занимает одну позицию с ним. Здесь вступает в силу другое условие – характер инфинитива. Сравним два предложения: 1) *Я хочу больше читать*; 2) *Я советую вам больше читать*. В первом предложении действие личного глагола (*хочу*) и инфинитива (*читать*) “принадлежит” одному субъекту (*я*). Инфинитив в таком случае называют *субъектным*.

Во втором предложении действие, обозначенное личным глаголом (*советую*), осуществляется одним лицом (*я*), а действие, обозначенное инфинитивом (*читать*), предназначается для другого (*вам – вы*), то есть действия, обозначенные личным глаголом и инфинитивом, “принадлежат” разным деятелям. Инфинитив в таких предложениях называется *объектным*.

Заметим, что другой деятель не всегда называется в предложении (ср.: *Я советую больше читать*), но это не меняет сути инфинитива: он остается объектным. Личный глагол в предложении является сказуемым. Объектный инфинитив никогда не занимает одну позицию с личным глаголом, то есть не бывает сказуемым. Для определения его синтаксической функции пользуемся обычным способом – подставляем вопрос: *советую (что?) читать* – дополнение. Аналогично: *Господ уфологов и экстрасенсов просим не беспокоиться* (из газеты). Инфинитив *не беспокоиться* объектный: *просим* – мы, *не беспокоиться* – господа уфологи и экстрасенсы. *Просим (о чём?) не беспокоиться* – дополнение. Еще примеры: *Крокодилам тут гулять воспрещается* (К. Чуковский); *Мы предложили читателям поработать частными детективами* (из газеты). Нередко инфинитив в подобных предложениях можно заменить однокоренным существительным, которое также выступает в функции дополнения: *советую чтение, просим о спокойствии, воспрещается гуляние (прогулки), предложили работу*.

Объектный инфинитив может быть обстоятельством цели: *Я позвала к себе друзей мириться* (В. Долина). *Позвала (с какой целью?) мириться*.

Более сложно определяется синтаксическая функция субъектного инфинитива. Он может занимать одну позицию с личным глаголом, образуя с ним составное глагольное сказуемое, однако только в тех случаях, когда сочетается с вспомогательными глаголами. Надо хорошо знать типы вспомогательных глаголов. Их, как известно, три разряда: 1) фазовые, 2) модальные, 3) эмоциональные.

Фазовыми называют глаголы, обозначающие начало, длительность или окончание действия, например: *начать (начинать), приступить (приступать), продолжиться (продолжаться), завершить (завершать), закончить (заканчивать), перестать (переставать)* и др.

Модальные глаголы – это глаголы, выражающие отношение говорящего к содержанию высказывания и его достоверности: *мочь (смочь), уметь (суметь), хотеть, желать (пожелать), решить (решать)* и т.п.

Эмоциональные глаголы выражают чувства, эмоции: *любить, бояться, пугаться (испугаться)* и др.

Следовательно, инфинитив является частью составного глагольного сказуемого при условии, если сочетается с одним из глаголов перечисленных групп. Например: *люди в масках, в разных касках Дружно начали плясать* (Г. Вильнов); *Мы продолжали играть в эту жалкую игру вконец растерявшихся людей, хотя давно уже знали всё* (Ю. Нагибин); *Лес может лечить даже во сне* (из газеты); *У этого окна любил сидеть Пушкин* (С. Гейченко); *Никто из нас В жизни не осмелится накинуться на мельницы* (Ю. Ким). Составные глагольные сказуемые в

этих примерах – *начали плясать, продолжали играть, может лечить, любил сидеть, не осмелится накинуться*.

Если же субъектный инфинитив относится к личному глаголу, не входящему в группу вспомогательных, то он выступает в роли иного члена предложения, не сказуемого, например: *Маленькие дети! Ни за что на свете Не ходите в Африку, В Африку гулять!* (К. Чуковский). *Не ходите* (с какой целью?) *гулять* – обстоятельство цели. *Я привыкла платить дороною ценой* (В. Долина). *Привыкла* (к чему?) *платить* – дополнение. Инфинитив – обстоятельство цели часто бывает при глаголах движения (*идти, бежать* и под.). Однако надо помнить о многозначности слов. Так, глагол *пойти* многозначен: наряду со значением “передвигаться” он может выступать в переносном значении – “начать делать что-н., начать осуществляться” (Ожегов С.И. Словарь русского языка).

В последнем случае он выступает как вспомогательный и вместе с инфинитивом образует составное глагольное сказуемое. Ср.: *И пошли они смеяться – Лимпопо* (К. Чуковский). *Пошли смеяться* = *начали смеяться*, это составное глагольное сказуемое с фазовым личным глаголом со значением начала действия.

Инфинитив может зависеть от слов категории состояния, тогда он включается в состав сказуемого, например: *А впрочем, ботинки надеть Нельзя без расходу, – В них можно стоять и сидеть В любую погоду* (Н. Матвеева). Инфинитив *надеть* зависит от слова категории состояния *нельзя* и образует с ним сказуемое; инфинитивы *стоять* и *сидеть* образуют сказуемое со словом категории состояния *можно*.

Инфинитив способен примыкать к существительному. Его синтаксическая функция при этом определяется обычным способом – подстановкой вопроса: *Я боролся за право работать, как хочу* (из газеты). *За право (какое?) работать. Мы и не ставили перед собой цели организовать что-то сверхординарное* (из газеты). *Цели (какой?) организовывать*. Как видим, инфинитивы при существительных в рассмотренных предложениях выступают в функции определения.

В инфинитиве возможно совмещение значений определения и дополнения. Проанализируем предложение: *Любителей поиграть на деньги было достаточно везде и всегда* (из газеты). *Любителей (каких?) поиграть* – определение; *любителей (чего?) поиграть* – дополнение. Такое явление наблюдается прежде всего при отглагольных существительных.

Представим наши рассуждения о синтаксической функции зависимого инфинитива в виде алгоритма:

- 1) Определите, к какой части речи относится инфинитив.
- 2а) К личному глаголу.
- 3) Определите характер инфинитива: субъектный или объектный.
- 4а) Объектный инфинитив → не входит в состав сказуемого.

5) Подставьте вопрос от личного глагола к инфинитиву, назовите функцию инфинитива.

4б) Субъектный инфинитив.

6) Определите, является ли личный глагол вспомогательным.

7а) Личный глагол вспомогательный → инфинитив входит в состав сказуемого.

7б) Личный глагол не является вспомогательным – см. 5.

2б) К слову категории состояния – инфинитив входит в состав сказуемого.

2в) К существительному – см. 5.

В заключение предлагаем упражнение для самостоятельной работы.

1) Во время сборов и учёбы скауты изучают приёмы выживания в природной среде, стараются овладеть другими полезными навыками (из газеты). 2) Давай друг другу поклянёмся Не делать худа никогда (В. Долина). 3) Я еще и своим двум сыновьям – 25 и 30 лет – предоставляю возможность трудиться (из газеты). 4) Надо воспитывать в людях совесть и ясность в уме (А. Чехов). 5) И в лес убежали [зверята] играть и скакать И даже *спасибо* забыли сказать, Забыли сказать до свидания (К. Чуковский). 6) Они страшно рады очередному поводу собраться вместе на массовые гулянья (из газеты). 7) Кто велел тебе с шарманкою бродить? (В. Долина). 8) И теперь, душа-девица, На тебе хочу жениться! (К. Чуковский). 9) [Сергей Львович] Шёл с ним [приказчиком] осматривать усадьбу, оранжерею, вольер, пруды (С. Гейченко). 10) Я развлечь вас постараюсь Старомодной пасторалью (В. Долина). 11) Я не стал скрывать мой возраст, но я начал стараться умалчивать о нём (Е. Евтушенко).

Мурманск



И.Б. ГОЛУБ. Стилистика русского языка

В период явного торжества так называемой “массовой культуры”, оправдывающей любые проявления речевого нигилизма и безграмотности, серьезным и социально значимым событием является издание книг, препятствующих дальнейшему понижению “иммунитета” к нарушениям традиционного русского словоупотребления.

Поэтому столь актуальным представляется нам выпуск московским издательством “Айрис-пресс” “Стилистики русского языка” Ирины Борисовны Голуб. Это учебное пособие, одна из главных задач которого – “дать типологию речевых ошибок при изучении стилистики,... выработать профессиональную нетерпимость к стилистическим недочетам в словоупотреблении”.

Написанная просто, логично и конкретно, эта книга может быть рекомендована всем, кто интересуется русской речевой традицией, стремится говорить и писать стилистически безупречно, а также – значительно расширить культурный кругозор. Дело в том, что в “Стилистике...” использован богатейший и часто уникальный иллюстративный материал: отрывки из интереснейших произведений русской современной и классической литературы, материалы писательских архивов. Читателю предоставляется возможность сравнить первоначальные и окончательные варианты пушкинских, лермонтовских, толстовских фраз, оценивая вместе с автором весомость и глубину каждого найденного слова. Виртуозное мастерство в использовании выразительных возможностей русской речи иллюстрируется на примерах из лучших стихов А. Фета, С. Есенина, В. Высоцкого, Б. Окуджавы и мн. др.

Автором собран и систематизирован значительный газетный материал. Анализируя публикации, И.Б. Голуб советует читателям, как избежать речевых промахов, типа “язык не поднимается говорить о следующем”; “в углу висела икона святого угодника Николая – шефа Российского флота” и мн. др.

В “Стилистике русского языка” зафиксированы также многочисленные ошибки устной речевой практики. Действительно, очень многие произносят *выдающий* вместо *выдающийся*, путают слова *статус* и *статут*, *опробовать* и *апробировать*, не придают особого значения

смысловому различию слов *практичный* и *практический* и т.д. Не случайно при столь небрежном отношении к речи появляются рекламные объявления типа: “Врач-некролог вылечит вас от алкоголизма”, “Освежение головы не роскошь, а гигиена” (на парикмахерской).

И все же – главное содержание книги – курс стилистики, смоделированный с учетом проблем, ежедневно возникающих в редакторской практике. Удобству пользования учебным пособием служит его четкая структура, энциклопедичность и лаконизм разделов, введение глав, специально посвященных разбору характерных случаев ошибочного употребления синонимов, паронимов, слов с различной стилистической окраской, профессионализмов, заимствований, фразеологизмов и т.д.

К достоинствам “Стилистики” относится “незамороженный” подход к языковым проблемам: автор сообщает, какие из них остаются пока открытыми, кратко знакомит с причинами разногласий и вариантами решений. Среди последних, что очень ценно, неизменно присутствует и аргументируется собственно-авторская позиция. Так, не разделяя пуристических взглядов на новые заимствования, автор вместе с тем не приветствует “экспансию звонкого иноязычия в современный русский язык” и считает, что ответственность за перенасыщение речи иностранными словами, их неправильное употребление, искажение должны нести прежде всего редакторы.

Своеобразие теоретического курса, предложенного в “Стилистике”, заключается в введении в его состав раздела “Фоника”, посвященного проблемам звуковой организации речи. И.Б. Голуб – одна из немногих лингвистов, серьезно изучающих проблемы возникновения звукообраза, благозвучия речи, стилистические приемы усиления ее выразительности.

Пронизанная стремлением противостоять бездумному, механическому пользованию русским словом “Стилистика русского языка” И.Б. Голуб, несомненно, будет полезна всем, кому небезразлична жизнь русского языка.

С.В. Подчасова ©,
кандидат филологических наук

Еще раз о том, что называется "русским", и о китайской грамоте

С.М. БЕЛЯКОВА,
кандидат филологических наук

Во втором номере журнала "Русская речь" за 1992 год была опубликована заметка С.Л. Сахно «Что называют "русским" русские и иностранцы?», затрагивающая проблему соотношения языкового и национального самосознания. Эта проблема может быть рассмотрена и на более широком материале: во многих языках существуют устойчивые сочетания, указывающие на национальную принадлежность предмета или явления. Например, в русском языке это *китайская стена, китайская грамота, русская рулетка, русская пляска, уйти по-английски, сидеть по-турецки* и т.п.

Что и как характеризуют языки подобным образом? Что обозначается как принадлежность собственной материальной культуры и менталитета, что – чужих? Какие нации более других отпечатались в языковом сознании своих соседей, а иногда и весьма удаленных народов?

Оказывается, что наиболее часто встречающиеся в разных языках определения – *английский* и *французский*, а из относящихся к азиатским народам – *китайский* и *турецкий*, а также *татарский*. Определение "русский" в европейских языках обладает средней частотностью. Можно сказать, что названные народы в большей степени отражены в чужом языковом сознании как внесшие наибольший вклад в европейскую материальную культуру или как носители ярких национальных черт.

Наиболее типичные сочетания – это составные наименования ботанической и зоологической терминологии (*китайская роза, русская борзая*), названия кушаний, где, как уже писал С.Л. Сахно, много курьезов (самое известное из них – *кофе по-турецки*, выражение, бытующее во многих европейских языках), а также названия бытовых предметов (*китайский фарфор*) и болезней (*испанка* "грипп определенного вируса").

Достаточно редко обозначаются таким образом широко известные достопримечательности страны. Здесь лишь один пример, хотя и красноречивый. Это выражение *китайская стена*, отмеченное во многих языках и употребляемое как в прямом, так и в переносном смысле.

Отметим и названия некоторых национальных обычаев (действительных или мнимых). Это сочетание *сидеть по-турецки* (в рус., польск., болг. языках), а также знаменитое *уйти по-английски*.

Особенно интересны фразеологизмы как сочетания, имеющие образное значение и поэтому в большей степени передающие восприятие одного народа другим.

Ряд фразеологизмов характеризует язык, и, естественно, родной язык становится символом понятного, простого, а чужой – непонятного, сложного. Сравним: *русским языком тебе говорю* или английское *in plain English* "прямо, откровенно" и чешское *tatar* "человек, который говорит непонятно". Выражение *китайская грамота* существует не только в русском, но и в польском, французском языках. Немногочисленны, но интересны фразеологизмы, обозначающие отрезок времени: длительный или неопределенный, они отмечены в чешском языке: *jednou za uherský rok* (дословно – однажды за венгерский год) "очень редко, раз в год по обещанию"; в польском: *poramiętasz ruski miesiąc!* "век не забудешь!" Словосочетания *венгерский год* или *русский месяц* алогичны, это вносит в значение дополнительную экспрессию. В словаре В. Даля приводятся пословицы: *русский час долог; русский час – всё сейчас; в русский час много воды утечет*, отражающие неспешность, неторопливость как существенные черты русского национального характера.

Наиболее интересны фразеологизмы, отражающие представления о чужих национальных особенностях: менталитете, внешности. Если обобщить эти значения, то мы увидим, что в языковом сознании других народов англичанин – тощий и невозмутимый, испанец – мечтательный, француз – галантный и легкомысленный. Особенно многосторонне характеризуются азиатские народы. Китаец – непонятный, притворщик, занимается на работе волокитой. Турок – с одной стороны, жестокий, грубый, необузданный, сильный, а с другой – глупый, безалаберный, да к тому же нищий. Примерно такие же представления связаны и с татаринном, что, вероятно, объясняется исторической памятью народов о татаро-монгольском иге. Как выяснилось, чехи "не очень различают" русских и татар, ибо майонез у них – это *tatarská omáčka* (татарский соус), а яйцо под майонезом – *ruské vejce* (яйцо по-русски). Существует еще сочетание *tatarská zima* – "трескучий мороз" (скорее уж должно быть *русская зима*). В целом, как видим, языковые представления не очень отличаются от обычных стереотипов восприятия, приписываемых, например, всем англичанам невозмутимость, а французам – легкомыслие.

Существуют также факторы, говорящие о связи языкового сознания и собственной национальной культуры. В некоторых языках (преимущественно славянских) есть слова, обозначающие национальное самосознание: чеш. *čeství*; болг. *българщина*; польск. *polskość*. В последнее время появилось и слово *русскость*, не отмеченное пока словарями. Характерно, что подобные слова имеют, в основном, славянские языки, то есть языки сравнительно малочисленных народов, для кото-

рых вопрос национального выживания, независимости всегда стоял остро.

Сочетания, обозначающие собственную национальную принадлежность, являются, как правило, этнографизмами и историзмами. Например, в русском языке это *русское масло* “топленое масло”, *русская печь*, *русская рубашка*. Причем некоторые из них приводятся в словарях без помет, но явно устарели и не вполне понятны без объяснений. В словаре Даля есть фразеологизмы *русский ум* “задний, запоздалый” и *русский Бог* “авось, небось да как-нибудь”. Известен (как в русском, так и в английском языке) фразеологизм *русская рулетка*, характеризующий русских как любителей крайне рискованных ситуаций.

Интересный материал может дать разговорный язык, но такие сочетания, как правило, не попадают в словари. Приведем здесь разговорный фразеологизм болгарского языка *българска работа* “сделанное некачественно, кое-как”. Ср. рус. разговорное выражение, бытовавшее в русском языке в недавнее время (“советское – значит отличное”) и, разумеется, содержавшее иронию. Из новых выражений русского разговорного языка приведем *русский йогурт* “маленький пластиковый стаканчик с водкой”.

Итак, наш язык говорит нам о том, что, несмотря на некоторые весьма специфические черты национального характера (русский человек крепок задним умом, надеется на “авось”, любит рискованные ситуации, долго запрягает, да быстро едет и т.п.), мы способны посмеяться над собой, а это залог душевного здоровья и жизнеспособности нации.

Тюмень

Ономастика на XII Международном съезде славистов

В Кракове (Польша) с 27 августа по 2 сентября 1998 года проходил XII Международный съезд славистов. Мы расскажем только об одном из направлений в лингвистике, которые были представлены на форуме – ономастике, остановившись подробно на проблемах, интересующих широкий круг читателей.

Ономастические доклады на съезде распределились по нескольким направлениям:

1. *Границы расселения славян в прошлом и настоящем; языковые контакты славянского населения с неславянским в приграничных районах и при совместном проживании в других местах.* Западную границу славянства, от Балтики до Адриатики, наметил Эрнст Эйхлер (Германия); южную границу славян в Албании на материале славянских названий деревень определил Джелал Улли (Албания). Южную границу славян также исследовал Мариус Орос (Румыния) в докладе “Славянское и псевдославянское в румынской ономастике”. А.Е. Аникин (Россия) в докладе “К характеристике крайневосточной периферии славянского языкового пространства” на примере географического апеллятива *камень* в значении “каменная гора” показал, как этот основной термин сопровождал в XVII веке русское заселение Восточной Сибири и вместе со старожильческими русскими диалектами проник к аборигенам Сибири, где на его основе были образованы кальки со словом *камень* в местных языках.

Юрген Удольф (Германия) в докладе “Древнеевропейская гидронимия и праславянские названия вод” показал, что на огромной территории между Балтикой, Балканами, Лабой и Волгой обнаружили гидронимы, которые могут быть отнесены к праславянским.

2. *Ономастические атласы* были представлены Вальтером Венцелем (Германия) – “Атлас сербских личных имен”; Лилияной Димитровой-Тодоровой (Болгария) – “Структурные типы болгарских ойконимов”; Дуней Брозович-Рончевич (Хорватия) – “Славянские гидронимы в славянском и древнеевропейском контексте”; Красимирой Колевой (Болгария) – “Метафора в славянской гидронимии”; Маринко Митковой (Македония) – “Синонимические гнезда в македонской топонимии” и др.

3. *Граница ономастизируемых объектов.* Помимо обычных объектов, имеющих имена (люди, города), в народных преданиях осуществ-

ляется персонификация и антропоморфизация таких объектов, которые обычно даже не воспринимаются как одушевленные.

Ичио Ито (Япония) в докладе “Персонификация времени в системе славянской мифологии” говорил о таких особых персонажах, как *Полудница*, *Среда*, *Пятница*. *Анна Кравчык-Тырпа* (Польша) в “Антропоморфизации и примитивных языковых табу” показала, что табу происходят в тех случаях, когда люди боятся, например, чужих, “не-людей” (демоны, духи, смерть, болезни, животные) или стыдятся своих. Примитивный человек видит природу одушевленной и придает ее явлениям человеческие черты. Они считают, что если то, чего боишься, не назвать по имени, оно не придет. Так нарицательные имена играют роль имен собственных. Примитивные табу наблюдаются и сейчас в польских диалектах.

В докладе *Н.И. Толстого* и *С.М. Толстой* “Имя в контексте культуры” говорилось о том, что имя собственное в традиционной народной культуре образует самостоятельный ономастический код. Имена присваиваются не только людям и домашнему скоту, но и диким животным, растениям, мифическим персонажам, болезням (*Тряся* и *Ломея*), стихиям и природным явлениям (вода *Ульяна*, земля *Тамьяна*), предметам, явлениям и концептам. Часто наблюдается онимизация апеллятива и народная этимологизация известных имен.

4. *Отрасли знания, сопредельные с ономастикой.* На Съезде были представлены такие важные для ономастики направления, как проблемы текстологии, вопросы орфографии, проблемы заимствования, церковная терминология, библеизмы, конфессиональные влияния. Несколько докладов было посвящено деятельности Кирилла (Константина) и Мефодия.

В докладе *А.П. Непокупного* (Украина) “Славянская терминология возвышенного рельефа в индоевропейском аспекте” говорилось об объектах возвышенного рельефа как об ориентирах на местности и относящихся к числу важнейших. Они обращали на себя внимание с глубокой древности, а их названия относятся к древнейшим словам славянской лексики. В их основе часто лежит корень со значением “сгибать”, который дополняется архаическим суффиксом *p*, как, например, в слове *бугор*. На этом основании автор сделал вывод, что украинский термин возвышенного рельефа *кичера* образован по той же древнейшей модели, а не заимствован из романских языков. Он также отметил тенденцию перехода подобных слов в “метеорологическую” лексику: в белорусском языке *бугры* “кучевые облака” и полагает, что это обстоятельство опровергает гипотезу о гористом характере индоевропейской прародины.

Александра Цесликава (Польша) в “Протославянских антропонимических апеллятивах” высказала предположение, что праславянские личные имена и прозвища существовали параллельно, но они были об-

разованы и мотивированы по-разному. Прозвища она относит к антропонимическим апеллятивам, основанным на метафоре и метонимии (*Боб, Баран*). Они возникли в устной речи. Встречаются апеллятивы, не зафиксированные словарями и отсутствующие в современном языке. Так, путем реконструкции, удается пополнить общеславянскую лексику.

Н.И. Zubov (Россия) в “Славянской квазитеонимии старшего периода” говорил об отражении дохристианских верований славян в древнерусских источниках и, в частности, псевдо- или квазитеонимы *Лада* и *Дзидзилеля*. Квазитеонимы возникли в результате христианского вклада древнерусских книжников в языческое прошлое (теоним *Сварог*) или позднейшего научного восприятия апеллятивов как имен собственных: в древнерусском слово *родъ* обозначало того, кто родился; оно было переосмыслено как имя бога *Род*.

5. *Антропонимика*. *Г.Ф. Ковалев* (Россия) в докладе «Антропонимия в романе М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита”» говорил о том, что в романе многое автобиографично и что, по условиям цензуры, многое зашифровано. Сопоставляя имена персонажей и факты из биографии М.А. Булгакова, он выявил некоторые прототипы. Имя *Воланд* восходит к немецкому диалектному *воланд* “черт”. Но, по мнению автора, здесь есть еще одна шифровка. Из перестановки букв в этом слове (если *н* читать как *и*, что имело место в древнерусском) получается *Диавол*, откуда объяснение символа Воланда – треугольник – греческое написание прописной буквы “дельта”.

Зофия Абрамович (Польша) в докладе “Крестное имя как культурный символ” показала, что отдельные этнические группы (православные, католики), находясь в инонациональном окружении, сохраняют свои крестные имена как символ конфессии и культуры.

Юзеф Бубак (Польша) в докладе “Новые имена иностранного происхождения” показал, что в настоящее время поляки охотно дают своим детям иноязычные имена (английские, французские, итальянские, немецкие, венгерские и др.), отказываясь от своих традиционных, что вызвано культурными связями с другими странами, широким влиянием средств массовой информации и эмигрантами. Нередко возникают трудности при записи этих имен. Так, имя *Виолетта* пишется десятью разными способами, *Джессика* – пятью и т.д. В спорных случаях обращаются в Комиссию по культуре речи.

Зофия Калета (Польша) в докладе “Фамилия в культуре славян” показала разное отношение к фамилиям у разных славянских народов. Так, для хорватов, сербов, боснийцев, болгар, македонцев и русских фамилия – преобладающий тип на *-ов* – символ принадлежности к большой семье, что давало социальное признание, престиж, чувство семейных уз и безопасности. У поляков и чехов (в особенности в фамилиях на *-ский*, образованных от названий мест) отразилось обладание

землей, что представляло большую ценность, давало чувство превосходства и политической власти.

Преобладающие в обоих типах фамилий суффиксы стали маркерами – знаками двух разных традиций в культуре славян. С XV века фамилия для поляка была столь же важна, как общественное положение, честь, репутация, моральное достоинство семьи. Это сохраняется и сейчас.

Разным аспектам антропоники были посвящены и другие доклады.

6. *Новое в ономастике.* В докладе “Изменения в ономастике XX века” *Ева Жетельска-Фелешико* (Польша) показала изменения, происходящие с географическими названиями, которые из числа языкового объекта превратились в объект районного, государственного и международного администрирования.

Оярс Бушс (Латвия) в докладе “Новое в ономастике Латвии” говорил о новых эргонимах, возникших в русскоязычной среде Латвии. В них преобладают названия от слов, давно заимствованных русским языком: “Дебют”, “Спектр”. Многочисленны названия от имен личных: “Серж”, “Соломон”, “Денис”, от античных богов: “Адонис”, “Дионис”, от названий звезд: “Сириус”, “Альтаир” и, наконец, от русских слов: “Березка”, “Содружество”, “Свет”, “Шаг”.

7. *Ономастическая теория.* *Винцент Бланар* (Словакия) в докладе “Теория имени собственного в аспекте сравнительной славистики” говорил о двух противоположных тенденциях в лексике: об интеграции имен собственных в систему языка и об их поляризации по отношению к апеллятивной лексике, вследствие чего имена оказываются элементами особой (под)системы. Онимическая номинация развивается на фоне номинации апеллятивной. Таким образом, имена собственные оказываются одновременно элементами языковой системы и онимической подсистемы.

Съезд славистов выпустил тезисы всех докладов, независимо от того, состоялось ли выступление ученого, с целью информировать общественность о тех проблемах, которыми занимаются слависты разных стран.

А.В. Суперанская ©,
доктор филологических наук